

ТЭКСТЫ  
ЎДЗЕЛЬНИЦ  
ЛИТСТУДЫИ  
SZTUKA

ПАКОЙ

2023



# АД УКЛАДАЛЬНІКАЎ

Перад вамі зборнік тэкстаў удзельні\_ц літаратурнай студыі SZTUKA, якая праходзіла з лістапада 2022 г. па май 2023 г.

Студыя працавала з беларус(к)амі, якія адносяць сябе да квір і ЛГБТ+ супольнасці і пішуць мастацкую прозу, аўтафікшн, аўтабіяграфічную і гібрыдную прозу.

У студыі былі два творчыя курсы: Таццяны Заміроўскай і Алёны Глухавай. Таццяна зараз знаходзіцца ў Злучаных Штатах, Алёна — у Францыі, нашы ўдзельні\_цы — па ўсім свеце, таму цалкам натуральна, што сустрэчы адбываліся ў Zoom'е. Таксама для ўдзельні\_ц было арганізавана 20 майстар-класаў з беларускімі пісьменні\_цамі. Сярод іх — Вальжына Морт, Анка Упала, Таня Скарынкiна, Крысціна Бандурына, Ева Вежнавец, Альгерд Бахарэвіч і іншыя.

Арганізатар(к)амі студыі былі:  
Павел Анціпаў, Даша Рамановіч і Міла Вядро́ва.

Кні́га ўяўляе сабой выпускны альбом з 14 тэкстаў, якія былі напісаныя падчас працы ў літстудыі SZTUKA. Прыемнага чытання!

ОТ

# АЛЁНЫ ГЛУХОВОЙ

Мы никогда не знаем, что мы пишем, когда мы начинаем письмо. Текста очень долго нет (но есть много слов), а потом он сразу раз — и вдруг есть. Мне нравится в письме его полная неизвестность, совершенная необязательность, этот переход из не-живого в живое, из изначального базового в добавочное: проросшая луковица в банке с водой на окне, рыбы из ила, возможность из безысходности.

Сложно было представить, как все будет, когда мы впервые созвонились с Пашей и он рассказал про свою идею дистанционной литературной студии. Позже, из своей квартиры в По я пыталась рассмотреть в квадратах экрана участниц и участников, проживающих в разных городах, запомнить их имена. Я никогда не преподавала в Zoom'е и никогда не проводила студий письма на русском, некоторые участники никогда не писали автофикшна. Не знать — это очень хорошо для письма. Когда мы не знаем, нам хочется найти (руку, слово, ответ). Когда мы ищем, наше письмо внимательней. Мне очень важно было дать это пространство незнания, поиска и размышления. Участницы дали мне возможность говорить то, что я еще никогда

не формулировала, искать вместе наши общие слова. Я очень благодарна за это доверие. Мне кажется, что мы нашли наш способ исследовать, спрашивать, называть, слушать и говорить, я надеюсь, что участницы смогли почувствовать как, зачем и про что они пишут.

Тексты, представленные здесь, — это *work in progress / création en cours*, они в процессе, даже если закончены, эти тексты еще немножко нетут (не до конца нам открыты), указывают на какой-то другой берег, позволяют нам пройти рядом. Мне нравится, что у этих текстов свои грамматики и словари, пространства и скорости. В них — про то, как мы вспоминаем и не умеем забывать, как хотим, но не всегда смеем и можем назвать, про наши внутренние комнаты и возможные леса, про наши разные языки молчания, про разговоры, в которых наши собеседники неудобно подбирают слова, про социальные игры, в которые мы всегда проигрываем, про наши все еще не переведенные часы. В этих текстах, так вышло, много птиц и открытых дверей, есть пятиэтажные хрущевки, их смотрящие окна и отогнувшиеся обои, заплаканные коты, узоры на коврах, бабушкин укроп и мамин свитер. Эти тексты написаны центробежно вокруг нерассказанной точки или центростремительно вокруг события, которое нельзя отменить, но можно переписать. В некоторых из этих текстов чувствуется, что предложения приходили медленно, им нужно было время, другие как будто наоборот — так боялись не успеть быть за-

писанными, что оказались словленными на нескольких языках. В этих текстах еще присутствуют внимание и концентрация, которые были им нужны, чтобы быть написанными. Эти тексты очень часто обращены к кому-то. Иногда мы можем подумать, что они обращены к нам.

Спасибо Паше за идею, организацию, сопровождение, спасибо Даше и Миле.

Спасибо участницам литстудии за внимание, благожелательность и доверие.

ОТ

# ТАТЬЯНЫ ЗАМИРОВСКОЙ

В проклятом 2022 году я как будто онемела, а ведь немота мне была как мать родна, и невозможность речи — знакомое поле, на котором я, казалось, обыграла бы даже саму себя. Но ничего не получалось написать, потому что стало до оцепенения ясно: это не поможет. И как, чему я могу научить, вначале испугалась я — поищите каких-нибудь говорливых, многословных контент-гуру с чеканными рецептами продающего текста, личного бренда и бестселлера за тридцать дней! Я бесполезная — я против повсеместно расплзающейся токсичной диктатуры нарратива, путь героя и развитие персонажа вызывают у меня тошноту, я ненавижу бездумный языковой автоматизм в художественных текстах, и даже мой пересобранный, новый странный русский — теперь бесполезный занозистый костыль. С другой стороны, мне кажется, писать надо лишь о том, о чем невозможно, невысказано писать — лишь в вещах и историях, которые не поддаются банальной манипулятивной нарративизации, я чувствую живую хрупкую жизнь, которая изо всех сил сейчас противостояет этой мертвой костыльности незнакомого нового мира.

И я поняла: надо попробовать. Потому что мы можем говорить об этом. И, может быть, сможем научиться друг у друга важному. Я начала набрасывать темы: афазия как метафора и как метод, немота и недасканаласць как двигатель текста, парафикшн и проблема достоверности, магия для рационалистов, забвение как поэзия, призрачность и практики исчезновения, объекты и биографии вещей, темная экология и животные-метафоры, метемпсихоз и постгуманизм. И еще: как менять собственное прошлое через письмо? И как писать о своих и чужих мертвых? И как оставаться писателем, работая на нетворческой работе?

И мы вместе искали способы говорить там, где речь перестала справляться. И получилось даже то, что не получилось: не-говорение тоже становится высказыванием, идеального нет и оно не нужно, потому что мы в нашей неидеальности и шероховатости — живые, неточные, не попадающие в цель; а этот несправляющийся язык — и есть родной.

У нас вышло поговорить о диктатуре русского языка, о зависании в лиминальности; о пространстве Беларуси, которое многие из нас оставили, толком не отрефлексировав отъезд — а ведь мы пространственно-привязанные, тутэйшыя, самоопределяемся через вечное зыбкое болотное «здесь».

Получились тексты про отрыв от места, но связь с ним же — квантовая запутанность, кто из нас ка-



кая частица? — тексты, исследующие деперсонализацию и дереализацию, тексты-списки, тексты-вещи, тексты-каталоги — эмоций, которые не назвать (но и не нужно называть, если названия нет — есть траектории пустоты вокруг неосмысляемого), имен, которые не вспомнить (руины памяти важнее, чем отчетливость фотоснимка), улиц, которые не переименовать теперь — условный наш мета-Минск превращается в одержимый дом (можем ли мы перевести haunted house и надо ли переводить, когда мы хонтим собой покинутое нами пространство прошлого?), где главные действующие призраки — мы сами и все, что мы о себе не помним или не хотим вспоминать. Что-то тут было за скобками, но, когда так много скобок, мы сами всегда за скобками.

И за этой невысказанностью, вокруг ее загибов, углов и умолчаний, вырисовывается самое важное — возможность речи там, где ранее зияла темнота, провал, чужой вырванный язык, выдранная с корнем кислая трава без названия. И все наши разговоры об этом новом, только-только выученном языке молчания — это тоже теперь речь. И когда нащупываешь где-то под землей ее магнитное течение, получившаяся пробоина уже не зарастает — и после первой жуткой темной воды рано или поздно будет бить из-под этих пластов прозрачная, ясная, ничья более и единственно возможная.

Я очень благодарна литстудии за этот совместный опыт коллективного и взаимного со-творчества

и со-мышления и бесконечно рада тому, что мы все вместе как будто заново научились говорить в этой новой незнакомой реальности, где молчание становится политической и риторической фигурой, а речь теряет привычный груз значений и яростно требует переизобретения языка. Тексты, которые родились внутри нашей лаборатории, эволюционируют и дают начало новым историям — а те, которым только предстоит быть написанными, уже где-то существуют и ждут подходящего момента, чтобы прозвучать. И обязательно прозвучат, я знаю. Потому что мы тут.

3МЕСТ

- 14 ДАРЬЯ ТРАЙДЕН  
24 САША СЕРГЕЙЧИК  
35 КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ  
62 ЯНА ШАТКОЎСКАЯ  
68 СВЕТА ЯРШЕВИЧ  
  
79 ЛІЗА ВЕСНІНА  
92 ТОНИ ЛАШДЕН  
111 АНТОН КЛИМОВИЧ  
132 ФЕЛИЦИЯ  
137 ЯНЯ РАВЯКА  
148 МИЛА ВЕДРОВА  
168 КРИСТИНА ГРЕКОВА  
174 АЛЁНА ПАЛЬЧЕНКО  
  
191 САША МЕТЛИЦКАЯ

БАНЯ

ДА ЧТО ВЫ

ШЛЮХА

БЕЗ НАЗВЫ

ЕДИНСТВЕННАЯ СМЕРТЬ

БАБУШКИ

БЕЗ НАЗВЫ

ЗЕМЛЯ ЖИВЫХ

БЕЗ НАЗВЫ

БЕЗ НАЗВЫ

БЕЗ НАЗВЫ

ТЕМНЫЕ МЕСТА

МЕНЯ ТАМ БОЛЬШЕ НЕТ

УСКОЛЬЗАЮЩИЕ

СЛОВА

СОН ПТИЦЫ

КУРС ТАТЬЯНЫ ЗАМИРОВСКОЙ

ДАРЬЯ  
ТРАЙДЕН

БАНЯ

Иногда мне кажется, что это был сон: пар, блеск металлических тазов, пестрые бутылки шампуней, обнаженные тела, шум воды — и сквозь все это я иду, одетая. Таково мое первое воспоминание о бане: плетясь за бабушкой, которой нужно было решить какое-то срочное дело, я неожиданно оказалась среди обнаженных деревенских женщин. Розовые, толстые, веселые, они расходились в стороны, пропуская нас, и их волосатые лобки были на уровне моего лица. Я была оглушена шумом, ослеплена сиянием мокрых тел и кафеля.

Опыт был ошеломляющим. Когда бабушка сказала, что мы зайдем в баню, это ничего для меня не значило. Я понятия не имела, как выглядят бани, поэтому оказалась растеряна перед тем, что увидела. Я застыла и сжалась под взглядами уверенных сельских красавиц. Их роскошные тела были знаками дивного алфавита, который я тогда не умела прочитать. Не подозревая, что тело может стать объектом исследования, я не смогла толком рассмотреть ту сцену — десятки голых женщин навеки слиплись для меня в толпу.

Я была растеряна, но не ощутила стыда и страха. Наверное, потому, что виденные мной женщины любили свои тела естественно и просто — с терпением и юмором они жили в них, преодолевая болезни, вынося трудную физическую работу, рожая детей, занимаясь обстоятельным сексом на скрипучих кроватях с металлическими изголовьями, внезапно

смешливо ебясь на природе, шагая по яблоневым садам, омывая ноги в ручье, догоняя отбившуюся от стада корову, старея.

В отличие от этого нагота матери смущала меня. Сексуальность и телесность были запретными темами в нашем доме. Я заплакала от злости, когда мама отказалась отвечать, откуда берутся дети. Годом позже, когда она все же рассказала немного, — отводя глаза, преувеличенно бодрясь, не находя верных слов, лукаво намекая на огромное несказанное — я испугалась и ощутила омерзение. Я знала, что для нее обнаженное тело — не естественная и привычная данность, а нечто противоречивое, опасное, трудное в обращении. То, что мама выходит из душа голая, наполняло меня неловкостью. Пока она бродила по комнате, вынимая из шкафов свежую одежду, я не могла отвести взгляд от крупных капель на длинных лобковых волосах. То, что располагалось ниже, вызывало ужас: малые половые губы складчато свисали, словно индюшиная бородка, подрагивали при ходьбе и терлись о бедра. Этот сантиметр кожи не поддавался осмыслению. Повзрослев, я увидела, что моя вульва выглядит так же, и погуглила стоимость лабиопластики.

Мамины обнаженные прогулки по комнате, кажется, и ей давались трудно. Я видела, какое напряженное у нее лицо. Иногда она что-то говорила под нос, подбадривая себя: например, вслух задумывалась, где может лежать та или иная майка, пе-



речисляла, какие вещи сейчас наденет и почему. Наверное, маме казалось, что неловкость исчезнет, если она притворится. На самом деле от этого было только хуже.

Вульва с ее щедрыми тканями приводила меня в ужас, однако женское тело целиком было томительным, желанным, тайным — как рисунки, которые я прятала от матери, как мастурбация на тихом часу в детском саду «Солнышко».

\*\*\*

После того детского опыта я долго не бывала в бане. Она казалась мне признаком вульгарности, бедности, вынужденной коллективности: появлялась в соленых российских комедиях для мужчин, спасала села, где не знали водопровода, теснилась на скромных наделах кособоких дач. Еще баня напоминала о болезни. «Нужно хорошенько пропотеть», — говорила мама, поправляя одеяло, под которым я, горячая и влажная после большой чашки малинового чая, задыхалась и злилась.

Я пишу текст не о любви, но он все равно приходит к этой заколдованной ране. Детское изумление от женского тела, пар и шум того деревенского дня оказываются связанными с тем, как ты раздевалась перед сном, с тишиной прохладной ванны, где мы чистили зубы, иногда сталкиваясь локтями. Само наше знакомство делает переход незаметным:

мы встретились на ретрите, и я отказалась с тобой париться.

Казалось неправильным увидеть тебя голой вот так. Банная нагота — спокойное, лишённое эротизма товарищество. Тело становится воздухом. Расслабляясь, оно утрачивает желания, достигает буддистской равнодушной задумчивости. Троп о проститутках в сауне приводит меня в ужас не только из-за покупки чужого тела, но и из-за нечуткости к тому, что приносит с собой жара.

В один из дней я сказала «хочу тебя». Плотно прижав губы к твоей ушной раковине, произнесла это поверх разговора с другой девушкой, и ты покраснела. Это не было особенно смелым поступком: через пару часов мы все должны были уехать. Лишь потом, когда стало ясно, что у нас ничего не выйдет, понадобилась настоящая храбрость. То, как я привыкала к твоей нелюбви, напоминало первое паренье. Безвоздушный зной не победить. Нужно сдаться ему — тогда, возможно, узнаешь о себе что-то новое.

В твоём доме тоже есть баня. Я попросила фотографию оттуда, но ты не прислала. Сказала, что, во-первых, перегорела лампочка, а во-вторых, просто не хочется. Но я все равно представила: уставая, нежная, влажно-багровая, ты лежишь в горячей тьме и слушаешь собственное дыхание.

\*\*\*

Мне было 24, когда я решилась. Все началось с бассейна при Дворце водного спорта. Там почти не надевают купальников. Пожилые огромные женщины сражаются за место под водопадом, который массирует зажатые плечи и напряженные спины. Словно тюлени, они уверенно двигаются поближе к мощным струям, вылезают на голубой кафельный бортик, чтобы занять лучшую позицию. Кроме водопада есть трубы, подающие воду с массажным напором. Можно прижаться к ним копчиком или подставить ноги, которые начнут дрожать, как желе.

После бани этот бассейн кажется прохладным. Если я не иду в баню, то долго плаваю в нем. Если иду, то окунаюсь и сразу же возвращаюсь в тепло.

Сначала баня показалась мне странным подвигом, который делает рутину жизни более возвышенной, не придавая, однако, ей смысла. Я встала у двери и подумала: долго не вытерплю. Рассматривая блаженные пустые лица женщин, которые сидели там с закрытыми глазами, я подумала, что они, наверное, так устают дома, что страдание от адского жара уже не пронимает их. Потом я поняла, что они совсем не страдают. Я, глядящая на них сверху вниз, всё делала неправильно. Нужно было сесть, расслабиться, не считать секунды, не защищаться от духоты и жара, не глазеть. Миндалевидные капли пота ползут по лицу и груди, ускоряясь в местах изгибов

тела. Воздух движется волнообразно, как будто он не пустота, а органическая ткань, которая вбирает нас в себя. Мне хорошо от этого чувства принадлежности — не другим людям, не пространству, а материи, которая так близка к границе мира, что обретает свойства магического.

\*\*\*

После этого я побывала во многих банях. Любимой стала та, что на Чудесных холмах. Едешь на машине от одного хутора к другому — сначала, где дорога, быстро, потом, когда приходится свернуть в поле, ползешь, прислушиваясь к шуршанию травы о корпус тачки. Хозяйка Алина — невысокая, худая, с алыми ногтями и стильной короткой челкой — иногда смотрит сквозь нас, здороваясь. Это значит, она уже покурила. Чихуахуа Зайка бегает вокруг, пока мы разговариваем. Алина несколько раз останавливается, чтобы вспомнить нужное слово, потом устает и уходит.

В этой бане только одно помещение, поэтому раздеваемся на веранде. Сентябрь, холодно. Я знаю, сколько можно пробыть внутри, чтобы не стать слишком сонной. Есть граница, за которой блаженство становится внечеловеческим, и я прислушиваюсь к себе, чтобы вовремя уйти.

Жокеи ходят в баню, чтобы быстро сбросить вес. Мамина подруга верит, что только баня может со-

хранить женское здоровье. Т. говорит, что не пойдет в баню с малознакомыми людьми. М. провела в бане свой день рождения.

Вообще-то у нас с тобой тоже было кое-что похожее. Помнишь ту ночь, когда мы были в квартире твоей матери на окраине Минска? Стоял холод, и я забралась под одеяло, чтобы немного почитать перед сном. Ты ушла в ванную, но через несколько минут вернулась. Опершись двумя руками о раму двери, на секунду застыла, внезапно робкая и маленькая. Наконец попросила: «Посиди со мной». Я оставила книгу на куче своей одежды, быстро прошла по темному коридору и открыла дверь. Все сияло и дрожало от жара, словно я проникла в брюхо большого зверя, и ты, алая, сильная, один из его органов. Мы тесно лежали в горячей воде, как печень и желудок, внутри белых ребер ванны. Я тоже стала алой, гладкой, гибкой — под стать тебе. В благословенной близости сплетенных ног ты вдруг нащупала мою щиколотку, потянула. Складчатая смешная кожа ступни прикоснулась к щеке. Ты держала так мою щиколотку, и казалось, что она понемногу уходит вглубь, внутрь тебя, словно в песок. Наша кожа стала разреженной, диффузной, эдемической, коммуникативной, общей, ничей, безгрешной, безмысленной, всезнающей.

Баня — амниотический мешок любви.

\*\*\*

Мы с А. сталкиваемся в сауне, и он решает поговорить. Спрашивает, как моя вторая книга, в каком городе я сейчас живу и не боюсь ли. Не хочется говорить ни о писательстве, ни о Беларуси, но все равно отвечаю: сухой горячий воздух делает границы проницаемыми, и я, ощущая, как тело перестает отличаться от воздуха, машинально произношу то, что А. хочет услышать. Наконец он выходит, и мы с другими посетителями сауны сидим в молчании. Кажется, этот разговор истощил всех, и люди ерзают и тихо вздыхают, пытаясь вернуть безмысленное полуденное спокойствие при помощи смены позы. Я еще некоторое время сижу, уперев ладони в раздвинутые колени, потом иду плавать.

Серебряное кольцо с голубым опалом сияет сквозь воду. Проплываю бассейн из конца в конец, глядя на то, как блестящий камень погружается на глубину и вновь взмывает в воздух. Я не всегда думаю о тебе — еще о собаке и о доме. В который раз подсчитываю, сколько денег нужно, чтобы подготовиться к зиме. Сейчас в доме нет пола, санузла, отопления. Середина октября — времени мало. Я плаваю, продолжая считать.

В деревне, где я купила дом, нет общественной бани. Центральное водоснабжение охватывает лишь несколько домов. Остальные бурят скважины и роют канализационные ямы. Моя скважина

глубиной в 96 метров — это очень глубоко и дорого. Возможно, эта скважина делает мою землю более женской — пространство, полное тьмы, воды и напряжения, с неудержимыми брызгами извергается, когда я верчу серебристый маленький кран. Немного работы руками — и отзывчивая влага поднимается из недр, преодолевая расстояние с магической легкостью.

Я бы хотела показать это тебе.

КУРС АЛЁНЫ ГЛУХОВОЙ

САША  
СЕРГЕЙЧИК

ДА ЧТО ВЫ



Я помню себя обычным ребенком.

И НИКТО, НИКОГДА.

Я не помню себя.

Просто обычный ребенок. Посредственная школьница, неуклюжая обитательница двора и — частенько мешающая сестра (сестренка).

В другую комнату меня.

Интересные друзья! У меня нет таких больших друзей.

— Ну Вииитя-я!

— Ладно.

Ха! Да вы только посмотрите, как я умею прыгать!

Я даже что-то восклицаю. Неудобно приземляюсь прямо на пол, мне больно, мне страшно. Я поднимаюсь и на дрожащих ногах ухожу в другую комнату.

У Вити хорошие друзья. Один из них приходит ко мне и садится рядом на корточки. Он говорит, что первый раз у него тоже не получилось. У него тоже болела нога. Я чувствую себя взрослой. Я понимаю его и я успокаиваюсь. Он ведь сильный, хороший. От него исходит спокойствие. Вот такие хорошие друзья у моего брата.

У него часто дома бывают друзья.

– Ну Вииятя!

Нет. Ладно. Я ухожу на кухню.

Я стою у окна и смотрю во двор.

Я не знаю, почему я не на улице. Возможно, меня тогда еще не выпускали во двор без разрешения. А может, все мои немногочисленные друзья тоже сидели дома, и одной мне там было бы скучно. Может быть, у меня тогда просто не возникало мысли уйти. Я дома, и все.

Дом напротив. Он точно такой же, как и тот, в котором я живу. Вон кто-то появился в окошке. Наверное, я тоже так выгляжу, если на окошко нашей кухни смотреть из окошка чужой кухни чужого дома напротив. А во дворе у нас карусель, песочница (совершенно неинтересная, там только дети), горка, качели (как пронзительно скрипят!), глобус. Он – любимый, там мы с Наташей очень любим на нем сидеть, разговаривать или играть в космонавтов. Дальше деревья – это парк.

Сейчас осень.

Кто-то вошел на кухню за моей спиной. Я оборачиваюсь – это один из друзей. Он вообще-то не очень приятный. Обычно он разговаривает

со мной как-то... Как будто ему неудобно подбирать слова, и он все время что-то обдумывает.

Я не помню, как его зовут.

Я думаю, что он пришел попить воды. Но воду они пьют в ванной. Нет. Ему просто надоело там, вместе со всеми друзьями.

Тут он разговаривает со мной нормально. То есть мне он все равно не нравится. Но, по крайней мере, это не выглядит так, как будто его заставляют со мной говорить.

Он меня спрашивает что-то, я ему что-то отвечаю. Просто разговаривает с сестрой школьного друга. Но он держит себя намного более старшим и всеми силами показывает это. Да, я обычный ребенок.

Да, я знаю это, я принимаю это.

Я не помню его слов.

Страшно.

Но я ведь не скажу. Раз он со мной говорит, значит, он считает меня достаточно взрослой. Во всех его словах сквозит превосходство, и я должна признать его власть. Как власть старшего. Но все же я достойна его общения?

Значит, я не должна говорить, что мне страшно, я не должна убегать. Хотя мне совсем не нравится то, что он делает там, сидя на табуретке между столом и холодильником. Я стою напротив и смотрю. Я ничего не понимаю. Он что-то предлагает, и я смотрю на него, как смотрела пять минут назад на двор, только теперь я испытываю еще и страх. Непонятный детский страх перед ранее неизвестным, странным, а теперь кажущимся неприятным. Никто ведь не показывает этого! Только давно, когда мы были маленькие с братом, купались.

Я не помню, что в первый раз делала я.

Опять Витины друзья.

Это он.

Какой он большой: взрослый. Все сидят в зале, а он показывает мне, как он подтягивается на турнике. У нас красный турник в прихожей, я до него, конечно же, не дотягиваюсь. Даже он подпрыгивает, чтобы повиснуть на нем.

Он висит на турнике и говорит что мне надо делать.

Как же мне страшно. Вдруг выйдет кто-нибудь из зала, они все увидят! Я волнуюсь. Потом он поднимает меня и вешает на турник. И папе, и брату обычно лень вешать меня на турник.

Я хожу в школу во вторую смену. А до этого времени я уже сижу дома. Иногда он приходит. Утром, когда все уже разошлись по работам, а брат — в школу. Сколько это уже длится?

Я запомнила тот раз, когда он сказал мне раздеться. Я лежу на своей кровати, на мягком покрывале в желтые узоры, совсем голая, я дрожу. Он медленно и долго гладит меня прохладной рукой, везде. Было страшно, было удивительно.

Я очень боюсь, что кто-нибудь вернется домой.

На даче мы с мамой собираемся засыпать.

— Мама, а когда дети рождаются, когда оба взрослые?

— Да.

Я думаю. Как незаметней спросить.

— А если взрослая девочка и маленький мальчик?

— Нет.

— А когда маленькая девочка и взрослый мальчик?

— Нет. Саша, а почему ты спрашиваешь? Что-нибудь..?

— Нет. Просто интересно.

Страшно колотится сердце. Хорошо, что мы с мамой спим на разных кроватях, она ничего не заметит.

Он звонит рано утром, когда родители еще дома. Брат собирается в школу, завтракает. Гречка. Не люблю.

Папа по телефону:

— Сашу? А может, Витю? — Он удивлен. Отдает мне трубку и уходит собираться, он спешит.

— Алло? Нет. Я не могу. Какой мусор, я еще не выношу мусор! Я ничего не знаю, что у тебя за справки.

Я не верю, что врачи дают такие справки. Но он говорит, что у него есть бумага. Я должна расписаться там и продолжать делать это для него. Я не знаю, я, кажется, не верю. — Я не могу говорить: Имена?

— Яна Надя Елена Х... не знаю имя. Оля Ч... Ульяна

Яна Таня Елена Боря Яна Надя Евгений Надя Аня  
Вадим Ира Ж... Ульяна

Он позвонил мне сейчас по телефону, когда дома родители, потому что я не открыла ему дверь вчера, когда я была одна. Я не открыла, потому что я не могу больше бояться, когда он приходит ко мне домой, когда никого нету! Но теперь мне страшно и когда родители дома.

Я что-то говорю. Очень неуклюже получается говорить именами.

Я выхожу на лестничную площадку. Дверь из квартиры открывается шумно, но никто за мной не выходит. Он показывает мне какую-то бумажку. Я не буду расписываться! Я даже не умею! И крестика ставить тоже...

Я отмахиваюсь от бумажки, даже не пытаюсь ее прочитать, я понимаю, что все равно ничего не пойму. Я чувствую, что он только этого и ждал. Мы договариваемся.

Все домашние ушли, я выхожу на лестничную площадку. Я в оранжевом спортивном костюме, который мне очень нравится. Мы поднимаемся на последний, девятый этаж, потом еще выше, там, где дверь на крышу.

Как много я потом ею пользовалась, встречаясь с Наташей прямо на крыше, а она приходила туда прямо из своего соседнего подъезда! Как там было замечательно, а я даже не вспоминала о... Через некоторое время из квартиры на последнем этаже, прямо под нами, выходит какой-то мужчина, покурить. Он поднимается на один пролет, зажигает сигарету и видит нас. Добродушно:

— Ну что, сачкуете? Хе-хе.

Я чувствую в воздухе, что у него дрожат колени. Я дрожу вся. Боюсь.

Мы смущенно спускаемся. Я ухожу домой, он — в школу.

Все же не помню, как его зовут. Не хочу перебирать имена, чтобы вспомнить. Замечательный желто-оранжевый спортивный костюм. А еще он обещал несколько жвачек, которые ему привез из заграницы отец.

Как-то мама узнала, что я от нее что-то скрывала. Кажется, что я прогуливала физкультуру. Она в зале нервно перебирает пластинки и говорит, что все тайное всегда становится явным. Я боюсь.

НИКТО и НИКОГДА.

На его телефонные звонки больше не отвечаю.

Я привезла от бабушки несколько розовых мячей, теперь у меня есть свой мяч для двора. Ко мне домой забегают дети, чтобы взять его поиграть. Но у меня есть и второй! Третий я завезла на дачу.

Мы с Наташей играем в пионербол. Нам очень нравится играть вдвоем. Мы уже довольно взрослые и играем во дворе только в спортивные игры.

Подошел он, говорит, что тоже хочет поиграть с нами. Один против нас двоих. Если мы выигрываем — он приносит нам жвачки.



Да подумаешь — жвачки... (Все равно ведь еще ни разу не приносил. И не принесет.)

Когда он уходит, я рассказываю Наташе, что он мне предложил недавно кое-чем с ним заняться. Кажется, она не поверила.

Это было в подъезде, когда я уже спустилась на первый этаж в то тёмное пространство между лифтом и почтовыми ящиками. Он показал мне деньги. Я обошла его, почти ничего не говоря. Это было летом.

Конечно, я не сказала больше ничего даже ей, Наташе.

## НИКТО и НИКОГДА

\*\*\*

Через тридцать с чем-то лет я наконец решила опубликовать этот текст. Я редактирую его во время внезапного острого гастрита: пятый день боли, вторые сутки без сна. Ком тревоги и вспышки боли в груди вызывают давно забытые ощущения: наполненность горла, невозможность вздохнуть, спазмы удушья, взрывные волны жидкости изо рта и мокрый, скользкий подбородок; блестящие черные резиновые трубы в кабинетах гастроэндоскопии, игровые комнаты детских больниц.

Тогда для меня, ребёнка, после тех наконец сказанных «нет» эта история и закончилась, я совершенно о ней забыла. Но для меня сейчас с того молчания как раз все и началось.

Непереносимость прошлого, невозможность воспоминаний. Вместо них огненная комета боли стала моим стержнем, черная дыра вины — моей основой, на них я выросла. Но сегодня, этим рассказом, словами высказанными я открываюсь непредсказуемому миру, чтобы начать разрушать стены и заполнять пространство жизнью.

КУРС ТАТЬЯНЫ ЗАМИРОВСКОЙ

КИРИЛЛ  
МИХАЙЛОВИЧ

ШЛЮХА

## 1.

Я закрыл дверь.

«Отнеси пакет, пожалуйста», — хотел было сказать я, но в коридоре, кроме меня уже никого не было. Лишь два ботинка стояли прямо на проходе.

А что меня, собственно, останавливает?

Элегантным движением ноги я пнул их к левой стене, где стояли все остальные, более дисциплинированные пары. Туда же я поставил пакет с продуктами, который моментально поник, позволив покинуть свои пределы банке соленых огурцов. Та покатила в сторону кухни и замерла в произвольной точке коридора, всем своим видом показывая, что здесь ее место. Везет тебе, банка, ты знаешь где твое место.

Открыв дверцу шкафа, я закинул туда шарф и шапку.

— У тебя банка укатилась, — послышалось с той стороны дверцы.

Он уже успел переодеться и вернулся в коридор.

— Знаю, — ответил я. — Забери пакет на кухню, пожалуйста.

- Хорошо. Банку забирать?
- Да нет, оставь тут. Ей вроде комфортно.
- Окей, как скажешь.

Я повесил пальто и закрыл шкаф. Банка действительно осталась на своем месте.

Ну и ладно.

Переодевшись, я тоже пришел на кухню. Злосчастный пакет стоял на одном из стульев. В этот раз он был бодрячком: его содержимое все так же было при нем. Но меня это не порадовало.

Я подошел к столу и начал выкладывать продукты.

Тот, кто в моих обманутых надеждах должен был этим заняться, сидел на стуле, кушая сырок. Его внимание было полностью оторвано от внешнего мира яркой картинкой в телефоне. Настроение выяснять отношения по этому поводу не было, поэтому процесс дислокации продуктов питания продолжился молча.

Часть продуктов ушла в холодильник, часть — на полки. В пакете остались стиральные средства, которые нужно было занести в ванную.

— У тебя все в порядке? — прервал тишину вопрос.

— Да, — соврал я.

Моя нелюбимая игра. Мы оба знаем, что, если этот вопрос прозвучал, то что-то точно не в порядке. При этом ты уже не прав, что не озвучил проблему сразу. А теперь еще и попал в ловушку, потому что нельзя в ответ сказать, что именно не так: это будет звучать грубо.

— Точно? — второй вопрос как продолжение игры.

— Да, — продолжение вранья.

Это было похоже на дурацкий ритуал, который подсознательно поддерживали все, с кем я был в отношениях.

— Ты можешь мне рассказать.

— Хорошо, — «сдался» я. — Мне хотелось бы, чтобы ты в следующий раз разобрал пакет, а не просто донес его до кухни.

Он посмотрел на меня, а затем на пакет в моих руках.

— А, ты про это? — в его голосе прозвучала нота облегчения. — Хорошо, в следующий раз сделаю.

— Спасибо.

Достав стиральный порошок, я отнес его в ванную.

Не люблю эту игру: она уличает меня в неумении обсуждать то, что меня действительно волнует.

Меня обняли сзади и поцеловали в шею.

— Не грусти, — в его голосе была доля ребячества. — В следующий раз я понесу пакет из магазина и разгрузу его. А пока я кое-что придумал. Пойдем обратно.

Меня взяли за руку и вернули на кухню, усадив на стул, который раньше занимал пакет.

— Чай будешь?

На улице было холодно, поэтому отказаться от чая мне не позволила какая-то внутренняя замерзшая часть.

Он наполнил чайник, поставил его на пластиковый постамент и нажал кнопку. Лампочка загорелась красным. В это время на столе появились чашки с чайными пакетиками и сахарница, а на соседнем стуле — приятный молодой человек, который явно был настроен на разговор.

— Мне кажется, я мало о тебе знаю, — начал он новый виток разговора.

— Что ты имеешь в виду?

— Ну расскажи о себе что-нибудь, чего я не знаю. Что-то, что позволит узнать тебя лучше.

— Я когда-то подобрал кошку на улице, принес ее домой, понял, что не смогу нести за нее ответственность и вернул обратно на улицу.

— Правда?

— Да.

Он посмотрел на меня, а затем улыбнулся.

— Дурак.

Мне не поверили. Ну и ладно, зато не придется обсуждать.

— А что тебя радует? — спросил он

— В каком плане?

— Ну что делает тебя счастливым? Что приносит радость? Я знаю, ты любишь магазины одежды, глупые реалити-шоу. А что еще?

— Ну, во-первых, дорогой мой, реалити-шоу не глупые! — во мне проснулся боевой дух. — Это пример первоклассной драматургии! Такого соревновательного духа и живых травм ты нигде не увидишь. Понял?!

Я сделал круговое движение рукой, изображая стерву, как научил меня любимый сериал детства. Его это явно повеселило.

— Все-все, не кипятись, — сказал он примиряюще.



— Поздно, — ответил я.

Во мне давно задышался от нереализованности самый талантливый мировой актер, который превращал обычные разговоры в произведения перформативного жанра.

А еще, иногда это позволяло уйти от странного разговора. Поэтому, отвернувшись к стене, я возвел глаза к небу и томно вздохнул.

— Как же некоторые люди слепы, — начал я свой монолог. — Они не видят искусства, предпочитая жить в темноте и осуждая тех, кто умеет пользоваться лампочкой. Они бегут впотьмах, врезаясь в деревья, но игнорируя фонарик. Они живут с закрытыми глазами, потому что все еще боятся молний!

— Пощади, — попросил он.

В это время закипел чайник. Одновременно на столе завибрировал мой телефон.

— Да, мам, — я поднял трубку. — Да, могу говорить.

Он принес чайник к столу и налил кипятка в обе кружки.

— Да, мам, я один.

Наши взгляды встретились. Он улыбнулся и подмигнул мне. Я слабо улыбнулся в ответ, как будто не-

много извиняюсь.

– Сейчас, погоди, – сказал я в трубку.

Убрав трубку от лица, я потянулся через стол, чмокнул его, а затем встал и вышел из кухни.

Огурцы все еще лежали в коридоре.

Я прошел мимо и закрыл за собой дверь спальни.

## 2.

Я закрыл ноутбук.

На сегодня работы хватит.

Окинул взглядом комнату. Ее главный объект – кровать – была оккупирована. На ней лежала куча каких-то блокнотов, часы, пара носков, пауэрбанк, телефон и, собственно, владелец всей этой кучи вещей с ноутбуком. Кажется, для меня там места не было. Однако упорства мне было не занимать, поэтому с грацией моржа я умудрился втиснуться к Саше под бок.

– Как работа? – спросил он.

– А как твоя? – язвительно уточнил я.

– Не дави на больное.

— Ты тоже.

Я показал ему язык, а затем уткнулся в подушку.

У Саши было тяжело с работой, по понятным причинам. Давить на него я не собирался, но ситуация начинала меня напрягать. Мы обсуждали ее пару раз, и даже строили планы о том, как найти новое место, но не всем планам суждено исполниться.

Кислород закончился и я опять поднял голову.

— Ну что ты? — новый вопрос для меня.

— Я не знаю, — даю честный ответ я. — Устал.

На мою спину легла рука и начала мягко ходить по ней из стороны в сторону.

— Бывает, — согласились со мной.

Я задумался о вопросе, который мне задали вчера. «Что меня радует?»

Судя по внутренним ощущениям сейчас — возможность не думать о том, что тебя радует. Не рефлексировать хотя бы по этому поводу.

Он что-то набрал на клавиатуре.

Ладно, вру. Мне хотелось это обсудить.

— Ты занят?

— Не особо.

— Можем поговорить?

— Уже страшно.

Прозвучало и правда как-то слишком серьезно.

— Да нет, я просто хотел обсудить твой вчерашний вопрос.

— Какой?

— Про счастье. Про то, что делает меня счастливым.

— О, рассказывай — он отложил ноутбук.

Я не знал, что рассказывать, поэтому решил пойти от противного. Чтобы понять, что тебя делает счастливым, надо вспомнить моменты, когда тебе было плохо и что вывело тебя из этих моментов.

Я начал вспоминать свой год и ощутил острую тоску. Пауза затянулась, но он терпеливо ждал, не много отвлекаясь на ноутбук, который лежал рядом.

Однако метод сработал, и я вспомнил. Чуть отодвинувшись на край кровати, я приподнялся и посмотрел. Он снова отложил компьютер.

— Слушай, есть одна штука. Мне немного странно об этом говорить, — мои руки инстинктивно потянулись к голове, начали тереть волосы. — У меня такое ощущение, что дальнейший рассказ будет звучать немного по-дурацки.

Он ничего не отвечал, просто слушал. Это было в его стиле.

Во мне появилось желание замолчать и больше ничего не рассказывать. Но это было бы слишком просто.

Я продолжил.

— Это связано с теми, кто у меня был до тебя. Ты уверен, что хочешь об этом слушать?

«Скажи нет, пожалуйста».

— Да, для меня в этом нет проблемы.

Руки спустились на уровень глаз, протерли их и скрестились над переносицей. Шумно выдохнув, я убрал их к подбородку и продолжил.

— Когда я сюда приехал, — мой взгляд уткнулся в подушку. — Здесь почти никого не было. Никого значимого. И я не хотел сюда ехать, мне так «веле-ла» работа.

Руки оторвались от подбородка, изобразили в воздухе кавычки и вернулись в прежнее положение.

— Я не хотел уезжать. У меня были отношения с человеком, которого я любил. И когда я уезжал,

то много плакал. Мы не расстались, но я понимал, что рано или поздно это произойдет. Он не собирался уезжать. Он даже сейчас не уехал.

Я посмотрел на другую сторону кровати и понял, что сказал.

— Извини.

— Все нормально, — соврали мне. — Продолжай.

— Ладно, — я вздохнул и снова отвел глаза. — Мы расстались через две недели. Просто как-то вместе решили, что будет лучше именно так.

Как же это глупо. Зачем я это говорю?

— Ты точно хочешь, чтобы я продолжил?

Зашуршало одеяло, и меня обняли.

— Да, все в порядке, продолжай.

Когда он был так близко, я не мог продолжить. Но и попросить отодвинуться я тоже не мог. Поэтому молчал.

Через минуту меня поняли, отпустили и вернули все в положение минимальной необходимой удаленности друг от друга.

— Я остался здесь и решил не оставаться один, — история потекла из меня дальше. — Я открыл при-

ложения для знакомств и долистал их до конца. Буквально. Мне писали о том, что пары в заданном радиусе и заданном возрасте закончились.

Рука затекла. Я поднялся и сел на край кровати, свесив одну ногу.

— Сначала это были просто переписки. Они чаще всего заканчивались на этапе обмена фотографиями. Голыми. Потом люди исчезали, — в голове всплыли пару образов таких людей. — И чаще всего — слава богу, что исчезали.

Он усмехнулся мне в ответ.

— Да. В Тиндере много странных людей.

— Как и везде. Но были иногда интересные. И вот с одним я встретился. Его звали Фархад.

— Татарин?

— Иранец.

— Тянет тебя на санкционку, конечно.

Стало смешно и одновременно с этим — чуть проще. Я вспомнил весь свой список и продолжил

-----

## 1. Фархад

Журналист, который писал о своей стране и тоже не мог в нее вернуться. Напоминал мне о доме.

Я обижал его тем, что рано уезжал и не хотел вступать в отношения. Он обидел меня тем, что на-шел другого парня.

Больше я его не видел.

## 2. Давид

Искренне и всем сердцем ненавидел свою страну и хотел уехать. Я пытался отговорить его, не знаю зачем.

Был художником, но картины рисовал весьма посредственные. Слишком простые, что ли.

В конце нашего общения его обманул мошенник, украл крупную сумму денег. Он разозлился, одолжил деньги у матери и уехал в Барселону.

Больше я его не видел.

## 3. Антон

Умный парень из очень маленькой деревни.

Помог пережить сложные моменты – просто тем, что был рядом.

Очень много курил. Очень плохо одевался.



Я обидел его тем, что не хотел сильно сблизиться. Больше его не видел, хотя пытался.

#### 4. Никита

Бизнесмен, без единого волоса на теле, не считая головы.

Когда-то нанял специально обученного человека, чтобы он сидел за него в приложениях для знакомств и нашел ему идеального парня. Позже платил этой идеальной второй половине ежемесячный оклад, чтобы можно было верить в любовь.

Верить в нее не мешала даже новая девушка оплаченного парня.

Больше его не видел, и слава богу.

#### 5. Дали

Кудрявый юный армянин с татуировкой слона Дали. Уехал на следующий день.

Первый партнер, чьего имени я не помню.

Больше его не видел.

## 7. Чехи

Два очень взрослых господина, которые занимались недвижимостью в Чехии. Показывали мне свои дорогие сувениры из разных городов и рассказывали о Боге.

Благо не очень долго.

Больше их не видел.

## 8. Доктор и певец

Приятная пара. Один психолог, второй преподаватель вокала.

Вместе 12 лет.

В конце их отпуска второй потерял дорогие часы, а первый ругался на него, будто расстроенный родитель на ребенка.

Больше их не видел.

## 9. Волейболист и кассир

Странные люди из моего родного города.

Не хотел бы их больше видеть.

Переспал с ними лишь для того, чтобы закрыть внутреннее достижение — секс с тремя парами за 24 часа. И потому что любил волейбол.

Больше их не видел.

#### 10. Наивный скинхед

Молодой местный парень, пианист, который был подстрижен под ноль.

Больше его не видел.

#### 11. Турок

Отец двоих детей.

Человек, который украл деньги у Давида. Но узнал я об этом позже.

Предложил переспать рядом с его четырехмесячным ребёнком, разыгрывая, что мы семейная пара.

Уехал в Будапешт. Больше его не видел.

#### 12. Саша

---

— Все? — спросил Саша.

Я задумался.

— Честно? — я поднял глаза чуть выше уровня его лба. — Не помню.

— И это за сколько? — спросил Саша.

— Месяц-полтора, — попробовал подсчитать я. — На это ушел весь июль двадцать второго точно.

Мне нравились глупые и пафосные реплики. Они делали обычную жизнь еще более дурацкой.

Мне ничего не ответили.

Стоило промолчать, кажется.

На столе завибрировал телефон. Я подошел, посмотрел имя абонента и ответил. В трубке раздался голос хозяйки квартиры.

— Она завтра заедет за деньгами, — сказал я, положив трубку.

— Хорошо, я уйду.

Саша встал с кровати и прошел мимо меня, направляясь к тумбочке.

— Во сколько она придет, сказала? — передали мне вопрос и деньги за квартиру.

— Нет. Где-то вечером.

— Хорошо, значит уйду с шести.

Я посмотрел на него

— Спасибо.

Он улыбнулся, но как-то устало.

— Нет проблем.

Я улыбнулся в ответ. Тоже как-то странно.

Он вернулся на кровать.

— И это правда делало тебя счастливым? — спросил он.

— Да, — сказал я, сев за стол.

Вот вру же. Не делало меня это счастливым, ни на йоту.

Мои руки начали переставлять вещи на столе.

— Нет, — признал я очевидное. — Это позволило мне выбраться из плохого периода с минимальной травмой. Ну и при сексе выделяется дофамин. Тогда мне это помогло, но счастливым — не сделало. И больше я такой опыт повторять не хочу.

— И зачем ты тогда мне все это рассказал?

Резонный вопрос.

Все предметы оказались на своих местах. Но рукам этого показалось мало. Они по инерции открыли крышку ноутбука.

— Не знаю.

Пауза.

Руки ввели пароль от компьютера.

— Понятно, — сказал он, поднялся с кровати и пошел куда-то в сторону двери.

— Ты куда? — меня это испугало.

— В туалет.

— Хорошо.

Он вышел из комнаты.

Я притянул ладони к лицу, тяжело выдохнул и сквозь пальцы посмотрел на экран компьютера. Ничего нового там не появилось.

Я закрыл ноутбук.

3.

Я закрыл рот.

Спорить с хозяйкой было бесполезно, проще ее просто выслушать.

— И вот здесь почисти! — ткнула она в какое-то место у дивана, где, вероятно, разглядела грязь. — Пыль нужно протирать раз в две недели, понимаешь? Чтобы ей не дышать. И ни в коем случае не кури в помещении. Ты же не куришь?

— Нет, — все же ответил я.

— И правильно. Не кури! Растений, может, тебе надо, дышать нечем, — она подошла к окну и открыла его, — Я принесу в следующий раз. Будешь поливать.

— Хорошо.

— Девушка есть?

— Нет.

— Должна уже быть.

— Была.

Она осеклась.

— Ладно, сынок. Только ничего не порти.

— Хорошо, — сказал я, сдерживая смехок.

Хозяйка прошла в коридор и начала надевать свои прекрасные зеленые замшевые полуботинки. Хвала небесам, что этот момент нашего разговора настал.

— У тебя есть ложечка?

— Нет.

— Как нет? Как ты живешь без нее? Небось вся обувь испорченная. Дай посмотрю.

В одном левом ботинке она распахнула нижние

дверцы шкафа.

Я осознал, что там стояло слишком много пар для одного парня, поэтому немного напрягся. Убирать зубные щетки я привык, а вот про обувь даже не подумал. Да и какова была вероятность, что она туда заглянет?!

Ладно, стоит признать, что не такая уж и маленькая.

— А это что? — спросила она.

— Вы о чем? — ответил я.

Она запустила руку в шкаф и достала банку огурцов.

Я внутренне выдохнул.

— Это огурцы, — сказал я первое и самое очевидное, что пришло в голову.

— А почему они здесь? — прозвучал вполне резонный вопрос.

Мой мыслительный процесс не смог выдать ничего толкового, поэтому...

— Маринуются. Там просто теплее всего. В интернете прочитал, что надо на дно шкафа ставить, — потекла из меня история. — Все остальные шкафы заняты, вот сюда и поставил.

— Правда, что ли?



«Нет, конечно».

— Да. Очень вкусные получатся. Мама моя делала, — я выхватил у хозяйки банку. — Вы приходите, я в следующий раз вас обязательно угощу.

— Только ничего мне рассолом не заляпай.

— Не волнуйтесь, я умею открывать банки! — я добавил в голос как можно больше энтузиазма.

Она посмотрела на меня с недоверием. Я сделал максимально серьезное лицо. Это ее убедило, и она принялась за правый ботинок.

— Зайду в начале следующего месяца.

— Хорошо.

Она еще раз окинула квартиру взглядом, проверяя, ничего ли я не сломал. Затем посмотрела на меня, скорее всего, мысленно перекрестила, и прошла к выходу.

— До свидания.

— До свидания.

Она вышла из квартиры (наконец-то!), и, выдохнув, я закрыл дверь.

Сейчас нужно было выждать десять минут, чтобы убедиться, что она не вернется. Затем набрать Саше, чтобы он возвращался.

Я сел на пол, вернул банку огурцов на место и, поставив таймер, с головой ушел в телефон.

Через минут пятнадцать послышался звук ключа, который пытался попасть в замок. Мне было крайне лень вставать, поэтому я остался на своем месте.

— Привет, — кивнул Саша.

Он снял ботинки и поставил их в центре. В его мире, скорее всего, это было где-то у стены.

— Что-то случилось? — спросил он — Почему ты сидишь в коридоре?

— Тут удобно, — беззаботно ответил я.

Он снял куртку, закинул ее в шкаф и сел напротив меня.

— Не очень, — поделился он ощущениями.

— У тебя просто спина недостаточно круглая, — продолжил я нести чушь.

Саша посмотрел на меня. Я улыбнулся и нащупав банку с огурцами, попытался пнуть ее в его сторону. Но банка предпочла свой путь и покатила в сторону кухни.

— Может, там ей и место, — предположил он.

— Может.

Он кивнул.

Я кивнул в ответ.

Он кивнул еще раз.

Я еще раз посмотрел на ботинки в центре коридора.

— Слушай, ты точно нормально с тем, что я тебе вчера рассказал?

— С большего да.

— Точно?

— Да.

Скорее всего, он врет. Но я не хочу вытягивать из него правду. Расскажет, когда сможет.

— Я, просто, знаешь, что подумал? — решил я поделиться.

— Что?

— Что если бы я был девушкой, то меня называли бы шлюхой за ту историю.

— Про секс?

— Да.

— Не волнуйся, если бы тебя кто-то хотел обозвать, он бы не смотрел на твой пол.

— Наверное, — согласился я. — Но когда я это рассказывал незнакомым людям, заменяя парней на девушек, то мне прям завидовали.

— Было бы чему.

В чем-то он прав.

Я устало выдохнул и посмотрел в сторону спальни. Хотелось чуть-чуть посидеть в тишине.

— У тебя все в порядке?

— Да, — ответил я.

Нелюбимая игра.

Я быстро провел взгляд через него, пытаюсь рассмотреть часть коридора у двери, и снова наткнулся на его обувь.

— Могу я попросить тебя не оставлять ботинки среди коридора? — все же решился сказать я.

Он тоже перевел взгляд на них.

— Да.

— Хорошо, спасибо.

Я перенес вес на шкаф позади себя.

— Может что-то еще? — спросил он.

— Да... — начал я.

Я хотел сказать о том, что мы не очень подходим друг другу.

Еще я хотел сказать, что я не пережил предыдущее расставание.

Я бы даже поделился тем, что я очень сильно устал и хочу домой.

А еще я понимал, что не хочу оставаться один.

Поэтому я закрыл рот.

КУРС ТАТЬЯНЫ ЗАМИРОВСКОЙ

ЯНА  
ШАТКОЎСКАЯ

БЕЗ НАЗВЫ

Я не проживаю потерю, она не проживает меня: мы делим на двоих один дом и постель, редкие яркие сны и почти каждый день, когда мне не страшно признать ее своей частью.

Мы компаньоны, запертые друг с другом в одном грузовом контейнере, в одной непрерывной рутине, неспособные избежать друг друга — или сбежать. Мы вместе открываем глаза, всматриваемся в содержимое отражений — она выглядывает в ответ из влажной черноты зрачков, пробует улыбку на моем же лице, носит мою одежду. Ее костистые корни переплелись и выросли в то, что я считала несокрушимым фундаментом, она клубится в местах, которые когда-то имели значение, ее беззвучная серость принимает формы идей, концепций, людей.

Выхолощенная оболочка, внутри которой — забвение.

Она заботливо подставляет плечо, когда я теряю культуру, она целует меня в висок, когда мой язык называют преступным, когда стирают мою идентичность, отнимают голос и забирают свободу, она сплетает пальцы (мои — мясные, и свои, конечно, не-существующие), когда раз за разом дарят утешительный приз наспех слепленной лжи о неувядающей любви или памяти, пока кто-то другой ссыпает комья земли или вымарывает бетоном ячейки в колумбарии.

Она остается — единственной постоянной величиной, точкой в конце предложения, молчаливым ободрением и вечным вычерненным пятном на периферии зрения, въевшимся в роговицу после долгого взгляда на солнце. Она фрагмент коллажа, под которой не клей, а помехи с мертвых каналов: сколько слоев ни соскабливай, внутри плещется — резонирует, отбиваясь от тонких стен непризнания — пустота.

Этот прибор неторопливо — миллиметр за миллиметром — подъезжает контуры воспоминаний, оставляя только разбавленные до бесцветности тени. Это не полуденный ужас — серая сумеречная обыденность, она встраивается в реальность как нечто, что всегда там должно было быть, и вот (наконец-то, спустя долгие годы разлуки) занимает свое почетное место.

Я делаю шаг назад. Я пытаюсь вспомнить момент, когда впервые — по скупым и неточным рассказам, по вслепую расставленным точкам на воображаемой сетке координат — мы столкнулись друг с другом.

Она скучаяще пожимает плечами.

Она скалит крупные белые зубы, и между ними карамелькой трескается, рассыпается на ярко-красный язык: мелкая мозаика с фасада моего дома; волосы, собранные в высокий пучок на затыл-



ке, рыжие, как крыши Троицкого предместья; мел в пальцах моей учительницы по белоруской; последний момент, когда лицо отца еще не вызывает желание замахнуться; прощание с другом; золото растрепанной ветром макушки на фоне высокого неба; прощание с любимой; сладость последней ягоды из старой корзинки; иллюзия безопасности; запах лежалого табака, сохранившийся на балконе, и глухой воющий стон, все еще живущий в моей голове — в настоящем.

Я считаю ее чудовищем — со всем ее интересом к самому ценному, со стремлением замылить и отодвинуть подальше все то, что я, как разноцветные стеклянные шарики, рассматривала бы вечность: каждую крошечную потерю и разгромное поражение, все застывшие в янтаре царапины и глубокие раны. Чудовище (как всегда) улыбается и пожимает плечами, и тянется осторожно — выбирает и ждет.

Она неизбежна — а я не хочу отпускать.

Я сжимаю последний оставшийся марбл в горсти, надеюсь напитать его теплом своих рук, поддерживать иллюзию жизни: цепляюсь за серый потрепанный кардиган, весь дырявый, в затяжках, затертый на локтях, слушаю призрачные шаги по опустевшей квартире, вспоминаю запах его сигарет и карамельки, которые он всегда хранил для меня в бардачке, рябь полопавшихся на высоте сосудов под рукавами

рубашки, как нелепо он пританцовывал от радости, как громко и невпопад пел, когда голова не болела.

Картинка сменяется, искривляется под гнетом вины и нескончаемых «что было бы, если».

Если бы я чаще бывала рядом.

Если бы я настояла на химиотерапии.

Если бы я не боялась поделиться чувствами.

Если бы я смогла пробиться через его стеснительность.

Если бы я знала все то, что знаю сейчас, когда уже поздно что-то менять.

Мне кажется, если я отыщу достаточно отвратительное воспоминание, оно сбалансирует искажение, удержит от распада то, что осталось. Пока я обманываюсь причиной и следствием, стеклянный шарик идет трещинами и рассыпается прямо в моих руках, превращается в уродливую химеру — случайные сполохи (человечности) красок не удерживают изначально недолговечную форму.

Крепче сжала бы пальцы, но в итоге хватаюсь за пыль.

Чудовище (как всегда) ухмыляется, пожимает плечами и подставляет ладони: делай, конечно, что хочешь — я подожду.

Мы — притираемся потихоньку. Засыпаем и просыпаемся вместе, выглядываем из одной бездны зрачков, носим одну и ту же одежду, делим одни и те же воспоминания на двоих. Она заполняет мой мир статическим шумом, серой беззвучной рябью — сантиметр за сантиметром поднимается с каждым прожитым днем, оmyвает прибором случайную россыпь камней и осколков, выброшенных на берег, шлифует их в пустотелые марблы.

Одним из этих звонких глянцевых шариков стану (однажды) и я.

КУРС АЛЁНЫ ГЛУХОВОЙ

СВЕТА  
ЯРШЕВИЧ

ЕДИНСТВЕННАЯ

СМЕРТЬ  
БАБУШКИ

Недавно я спросила у матери, о чем они говорят с подругами теперь, когда все их родители умерли. Она сказала, что ходят на кладбище и обсуждают.

Когда бабушка умерла, я почувствовала облегчение. Казалось, нервная система матери будет стабильнее, если убрать из ее дней выматывающий бесплатный уход за лежащим человеком, к которому испытываешь смесь любви и ненависти, долга и наслаждения собственной властью. На похоронах я ничего не чувствовала, а когда села писать — ощутила тяжесть за носоглоткой. В ядре головы, где-то в центре, изнутри.

В обществе кровных родственников я значительно младше и мне не с кем обмениваться вежливыми фразами. Все смотрят на меня сверху. С высоты своего опыта, но не ума. Мой двоюродный брат, который из всех присутствующих ближе всего ко мне по возрасту (разница в лет пятнадцать) окружен тушками, что просят его наполнить бокал. Сложно сказать, это семейное празднество или утрата. Не знаю, как называется часть мероприятия, когда люди сидят в комнате рядом с гробом и обмениваются последними новостями и сплетнями — ведут светскую жизнь, — но помню, что тогда шутила про инцест подруге, с которой переписывалась.

Для меня бабушка медленно и затаенно умирала последние пять лет. Когда она заговорила с несущестующими людьми и наградила меня бойфрен-

дом Колей, было смешно. Позже, когда Альцгеймера становилось все больше, а личности все меньше, начало казаться, что дом затянут вязкой резиновой трясиной, мешающей дышать. Еще живая бабушка под конец говорила стихами. У нее в голове будто сдвинулись шестеренки, и я находила рифмы по строчкам ее речи. Не думаю, что она это осознавала. Три с половиной класса образования польской школы, читать научилась в шестьдесят, писать — чуть позже. Буквы квадратные и большие, как в детском букваре. Самая известная иностранная фраза — хэндэ хох.

А еще она считала, что объедает нас, и каждый раз устраивала спектакль из приема пищи. Возможно, она планировала умереть от голода, но ей все никак не давали.

Люди заходили и выходили. Гроб стоял. Я наблюдала и документировала чужие чувства без разрешения. Узнала, что: бабушка кому-то писала молитвы, кому-то помогала продуктами в трудные времена, кому-то просто казалась очень умной и доброй; она продавала чужой укроп вместе со своим и не брала процент, что показалось мне крайне неэкономичным решением, учитывая то, что мне все детство забивали голову нашей бедностью; но потом я подумала, что ей просто нечем было себя занять; и ее процентом была возможность быть полезной.

Первые несколько часов мне было весело. Маска, ибо ковид, маскировала лицо. Не нужно было строить грустную мину из чувства приличия и не нужно было сдерживать улыбку, когда один из друзей дяди с уверенностью сообщил (и он использует эту информацию как девиз!), что по телевизору сказали, что судьба записана в ДНК и ее можно изменить только в худшую сторону. Как соблюдать приметы с зеркалами и хлебом и чем там еще, я не запомнила, хотя это далеко не первые мои похороны. Двоюродный брат вел светские беседы и тонко шутил над теми, кто этого не улавливал. Это наша семейная черта, которой я горжусь. Даже почившая в конце ноября бабушка надеялась умереть не зимой, чтобы было удобно копать. Как жаль, что участок был дважды зацементирован и забит арматурой под завязку, так что копальщики-носильщики все равно страдали.

Устав от интересности и насыщенности таких бесед, я пошла в другую комнату, чтобы понаблюдать за руганью двух ветвей семьи. Я никогда не предполагала иного развития событий. Увы, моя реплика «Я пришла увидеть воссоединение дорогих родственников!» нарушила атмосферу, и разговор закончился. Я с некоторым смущением удалилась.

На обратном пути меня поймала одна из подруг матери.

Должна сказать, я ненавидела ее в детстве.

То ли потому, что она раз или два сделала мне замечания. А я не считала, что кто-то, кроме матери, имеет право говорить со мной в таком тоне. То ли потому, что у неё была идеальная дочь на лет пять старше меня, с которой меня постоянно сравнивали. Впрочем, позже эта самая дочь проиграла по всем фронтам, и сравнение стало мне на руку. Да, да, теперь я говорила: «А ты знаешь, что сделала Юля?..». Эта подруга матери теперь мне нравилась, потому что выглядела элегантно. И разговаривала со мной не через призму матери, а именно со мной. Многие (о, да, их больше одной) подруги матери говорили обо мне как о предмете или придатке, который можно обсуждать в третьем лице. Эта, элегантная, говорила со мной.

Она говорила: «Ты сейчас не понимаешь, но поймешь в дальнейшем...».

И её глаза были такие голубые, такого яркого цвета. Глаза моей матери никогда не были такими, только серыми с налетом голубизны. Но считались голубыми. У нас у всех в семье голубые глаза. Только у меня карие, потому что я бастард.

Суть речи была в том, что я должна поддерживать мать сейчас всеми возможными способами. В процессе повествования мне дважды захотелось предложить ее обнять. Потому что: мне казалось это уместным; и я чувствовала себя уверенно для человеческих объятий; и мне было любопытно, позво-



лит ли; и помогу ли я ей. Потому что мне помогать не надо было. И моей матери тоже. Я была уверена. Моя мать ненавидела свою мать, думала я. Ей было тяжело за ней ухаживать, и она часто кричала. Я думала, она ждала этого. При моей жизни она ни разу не сказала своей матери доброго слова, которое не было бы вынужденным. Я думала, что ее подруга все это знает.

Но она не шутила.

Она спрашивала: «Ты будешь поддерживать маму?». И долго смотрела в упор. Хотела, чтобы я пообещала.

Я неопределенно вела глазами, потому что не даю обещаний, которые не планирую сдержать. И я не сказала даже «возможно» или «я подумаю/попробую», потому что это звучало бы жалко.

Помню, как размышляла, нужно ли мне страдать. Или притворяться, что страдаю. Или воспользоваться шансом выбросить накопившиеся за год эмоции в процессе коллективного втыкания в гроб.

Когда брала отгул, выяснила, что у руководительницы отдела тоже недавно умерла бабушка. И она была на похоронах, поэтому пару дней не отвечала. И она мне посочувствовала. Я почти пошутила: «Сезон, что ль». Но вовремя подумала, что ей может быть больно, она, может быть, любила свою бабуш-

ку. А может, и нет. Я не знаю. Но мне кажется — да. Хотя я не знаю.

Не со всеми хочу обсуждать даже толику всего этого.

Больше всего не хочу изображать участие, если вдруг кто-то решит мне посочувствовать. Социальная игра, в которую я всегда проигрываю.

Когда меня забирали из города, где я живу, и везли в родной, я думала, что со мной попытаются поговорить. Я этого очень не хотела. Эти люди очень далеки от всего того контекста, в котором я росла. Увижу ли подружку детства, на похоронах матери которой я была прошлым летом? Будет ли это любопытно? Скорее всего, не увижу. Что будет с бабушкиной комнатой? Наверное, я наконец-то смогу завести кота, и ему не будет плохо от атмосферы, царящей в доме.

Переписываюсь: «У моей подруги умерла бабушка. Любимая. Говорит, пока не осознает. У-подруги-моей-соседки-у-друга умерла мама. А ему всего двадцать три». — «Действительно, сезон». — «Ты не должна изображать те эмоции, которые от тебя ждут. Не хочешь плакать — не плачь». — «А будут ковидные похороны или стандартные?» — «Ставлю на стандартные, раз решили создать знамена».

«Я рада, что эта задача закрылась в этом году, а не в следующем. Хотя и не удивлюсь, если ее откачают. Вот совсем нет. Она так долго жила с этим, что кажется почти бессмертной», — я пишу эти строки, буквально сидя перед гробом с остывшим и приведенным к состоянию презентабельности телом.

Любопытно наблюдать за членами семьи, которые редко как-либо взаимодействовали, в такой объединяющей обстановке.

Я веду трансляцию:

- обсуждаем урожайный год, обои;
- все такие остроумные, я всегда забываю об этом, горжусь;
- ох, какой была носильщица гроба на похоронах матери подруги прошлым летом!
- кажется, только на таких мероприятиях я вижу достаточно людей ;
- соседка сказала, что бабушка красивая (лежащая в гробу превосходит бьюти-стандарты для мертвецов);
- соседка прокомментировала: «в жизни была хороша, и померла красиво»;
- интересно, что подумала мать;
- обсуждаем узелки к похоронам;
- соседка спросила, дадут ли пенсию;
- если б умерла на неделю позже, дали бы;
- «красавица бабулька» — это цитата;

- «на девяносто два не выглядит» ;
- «вспомнили вставить челюсть, а то обидится. и расчесочку»;
- говорят, что день рождения у почившей через девять дней и что дед умер тридцать восемь лет назад.

У меня еще никто из дорогих мне людей не умирал. Только кот. Я не знаю, что это.

Заказали стол на двадцать пять человек. А зачем столько?

Комментирую: «И она тоже за кремацию! Отлично, вкус есть. Можно улыбаться под маской. Обсуждают места по акции на кладбище!». Подруга спрашивает, комфортно ли мне сидеть возле тела. Честно отвечаю, что да, а вот на похоронах матери подруги (другой) прошлым летом не было. Тут ожидаемо и легко. Там было неожиданно.

Веду трансляцию:

- они тут пришли к выводу, что, если человек много думает, у него рано проблемы со здоровьем, я восхищена;
- вспоминают, что бабушка хорошего делала, а я не знала;
- хочешь фото венков от матери и дяди, чтобы угадать, кто богаче? ладно, слишком близко к гробу,

просто знай, что это видно даже сейчас;

- дядя выглядит грустным; и всех друзей своих позвал;
- интересно, будет ли он приезжать;
- как мы будем взаимодействовать частями семьи без связующего звена;
- обсуждают политику;
- кажется, двоюродный брат переживает?
- подруги матери, которые не взаимодействуют между собой, подсказывают ей одновременно что-то; никогда не видела их всех в одной комнате, думаю, это очень неловкое мероприятие для них;
- обсуждают, как в поликлиниках заканчиваются бланки о смерти;
- говорят, что они на очереди (это потому что им за шестьдесят?)
- я на похоронах матери подруги переживала, потому что почившей было сорок и это было близко ко мне;
- мать ругается;
- интересно, что я их всех знаю, а они друг друга — нет;
- знакомят двоюродную сестру с двоюродным братом;
- мне провели воспитательную беседу и спросили про работу;
- очень странно: мать злится, что люди не остаются на поминки; я не понимаю. разве это важно?
- тут в разных углах стола разная атмосфера;
- я когда буду старой, тоже буду стebать;
- в зале еще одни похороны, опт.

Помню, что как-то, когда мать была на работе, я смотрела, как бабушка гуляет по двору. Она разговаривала с некой Клавой, цитировала свою мать («Мне всегда говорили: хорошо — молчи, и плохо — молчи») и просила принести лопату, чтобы посадить что-то под грушей. Говорила, люди скажут, что она сама себе копает могилу. Говорила, что лопата тяжелая. Я отвечала, что легче было, когда она была на лет двадцать моложе. Она смеялась. Я разговаривала с ней как с ребенком или животным — акцентировала спокойную интонацию. У меня хватало сил, я редко с ней общалась. А вот мать — все время на повышенных тонах.

Мать действительно выглядит расстроенной, мне странно.

Думаю, больше всего терять братьев, сестер и друзей. Кого-то с твоим опытом. Кого-то, кого понимаешь. С кем мог бы обсудить свою жизнь на равных и в том контексте, в котором существуешь. Без скидки на «как было двадцать лет назад».

Думаю, абсолютно все люди после похорон принимают душ.

# ЛІЗА ВЕСНІНА

БЕЗ

НАЗВЫ

Дверь аудитории издает голодный лязгающий звук и выпускает меня. Мои воспоминания — отогнувшиеся обои.

Одно из самых важных воспоминаний: я и мама на море в последний раз. В конце июля 2021-го стоит жуткая жара, мы пытаемся второй час найти съемную квартиру. Обе немного злые, но больше обезвоженные. В следующие 5 дней у меня сгорит нос, порвутся очки для плавания, а полотенца запахнут высохшими водорослями. 5 дней, доверху наполненных соленой морской водой, после которых все нечаянно оборвется, станет похожим на треснувшую яичную скорлупу, выпускающую капли.

Начался август, мы переехали в город, от которого осталась заметка: «gps, тепло, я лежу около больших сашиных тапок, притворяюсь собакой, он иногда обувает их и выходит на балкон покурить, обошла квартал 4 раза, не заблудилась, просто понравилась».

В этом семестре я прохожу курс физиологии человека и животных. Каждый понедельник и субботу почти полтора часа лекции. Мы с А. учимся и живем вместе. У нее отличная интуиция, красивые серо-голубые глаза и суперспособность к прощению. Обычно в понедельник мы покупаем кофе и садимся на пятом ряду в поточной аудитории. Она работает на ноутбуке, а я пишу за лектором то, что успеваю. Но сегодня А. нет, я сижу одна на краю нашего ряда



и пью кофе.

— Есть люди, которые не умеют забывать.

Я заинтересованно поднимаю голову и становлюсь выше на несколько вязких сантиметров. По аудитории идет шепот и обрывается тишиной.

— Хотели бы так?

У пачатковай школе адной з раніц я звалілася ў ванну. Я чысціла зубы, саскаўзнулася з краю, дзе сядзела, і моцна ўдарылася галавой. На патыліцы з'явіўся вялікі гуз. У гэты ж дзень класная кіраўніца на абедзе падарыла мне кнігу. Мабыць, яна ўбачыла ці адчула мой пульсуючы боль і пашкадавала. Але, як ні стараюся, згадаць назву я не магу. Як не магу згадаць назвы яшчэ купы важных рэчаў, якія я люблю.

Когда я пытаюсь, я чувствую запах. Запах холодного моря, или потной рубашки, или песка возле скамейки. Иногда эти запахи наваливаются на меня и заглушают. Или я чувствую: если отпущу запах, то больше не смогу видеть. Меня бросает в жар, когда я понимаю, что забываю. Особенно когда забываю запах. Мне очень хочется держать его при себе, привязать или слиться. Когда он уходит, я злюсь. Иногда запахи изменяются, и я тоже злюсь. В те первые секунды, лежа на дне ванной, сложившаяся по полам, я чувствовала свежий запах своей школьной

форми и, кажется, железа.

Джилл Прайс родилась 30 декабря 1965 года в Нью-Йорке. Весной в 2000 году она написала доктору Джеймсу Макгоу электронное письмо, в котором говорила о своей способности подробно помнить каждый день жизни, начиная с 11-ти лет: «Я сижу, пытаюсь разобраться, с чего начать, как объяснить причину моего письма... Я лишь надеюсь, что вы сможете мне как-нибудь помочь. Сейчас мне 34 года, с 11 лет у меня появилась необыкновенная способность вспоминать своё прошлое... Я могу выбрать любую дату начиная с 1976 года и подробно рассказать, какой это был день, что я тогда делала, что произошло важного».

Как объяснить причину моего письма?

Забыванне — гэта як праваліцца ў расколіну паміж дзвюма каменнымі глыбамі. Каб схапіць белы шум паміж успамінамі — вось чаму я пішу. Я пра гэты шум пакуль сама нічога не ведаю. Усе сказы знаходзяцца так блізка, што змыкаюцца і зліпаюцца, атрымліваецца, што я па коле пішу пра тое ж самае. Я баюся, што я вельмі дрэнная пісьменніца, я не пісьменніца ўвогуле. Учора я спрабавала напісаць пра забыванне і раптам расплакалася, калі зразумела, што забыла, як гэта.

Первое, что я написала для этого текста, была та записка, осторожно подвесившая меня меж-

ду измерениями. Одним, о котором я почти ничего не помню, недоступном, живом, дребезжащем от любви, и другим, в котором я просыпаюсь, живу один день, болезненно хрупким. Недавно я полюбила писать от руки и купила себе блокнот. Теперь чувствую себя гораздо ближе к первому измерению, это очень приятно. Пишу я медленно, словно нащупывая себя или уже не-себя. Скорее да, точно не-себя. Осторожно выписываю слова, порядок действий, запятые, мои любимые точки. Движение и точка. Будто я что-то отрываю от не-себя. Потом я набираю темп, мне страшно, что не успею описать это мое родное, пока кусок моей памяти не остынет. Я упускаю детали. Обычно пишу вечером, когда внимание рассеивается, поэтому упущенных деталей еще больше. Я пытаюсь отсоединиться от памяти и дать себе написать то, что хочу. В определенный момент мне кажется, что обе мои (не-мои) линзы наложились одна на другую. Я больше не могу понять, где кончаются глаза мои и начинаются ее. Я вообще уже ничего не понимаю. Хотела бы написать эти слова речью другого человека. Абсолютно не-собой. Мабыць, пачну нанова?

Што гэта такое — «не-сабой»? Калі я плыву — я шум у вушах басейна. Калі пішу — я кіслы яблык. У нейкім сэнсе я — гэта працэс. Шум і кіслы яблык.

Забыць — гэта таксама маё цела, забыць — гэта маё рукі і мая цяглічная памяць.

Як патлумачыць прычыну майго пісьма?

Апошні раз, калі я не адчувала расколіны ў вымярэннях, было летась, у пачатку лютага. Гэта быў асаблівы час, выведзены словам «паміж», зацыраваны нацягнутымі і амаль нябачнымі ніткамі. Мабыць, маё цела раней за ўсіх адчувала, што два кавалкі цэлага адчайна разыходзяцца. Тады я адразу зразумела, што будзе той дзень месячных, калі мне вельмі балюча. Засталася адна ў нашай здымнай кватэры. 8 раніцы. Я з'ела ёгурт, падобны да пратэрмінаванага жэле, і напісала табе, дазволіўшы прыходзіць у любы час. Адразу пасля гэтага тэлефон выключыўся і адмовіўся рэагаваць на мае дзеянні. Ты прыйшла праз паўгадзіны, прынесла ежу ў скрынцы і паскардзілася, што доўга шукала запасны звязак ключоў. Так усё было? Ты назірала за мной, пакуль я засоўвала тваю ежу ў рот і плакала. Напэўна, я спадзявалася, што ты дакранешся мяне, мабыць, нават адным пальчыкам, здымеш гудзенне нітак, і мне стане менш балюча і крыўдна. Але гэта да нас не падобна. Мы вярнуліся ў тваю кватэру і апошнія гадзіны да аўтобуса я ляжала пластом на канапе каля балкона. Старалася не рухацца, каб не выклікаць ірвоту ад болю.

Я люблю вкус мора. Похож ли он на вкус океана? Я только знаю, что у моря границы есть, а у океана их меньше. Я знаю, что границы могут прятаться, притворяться отсутствием, но они прямо вписаны в море.

Как я вписываюсь в море? Я набираю воздух,

но не слишком много, чтобы лёгкие не распирали, я ненавижу это чувство. Затем быстро опускаюсь вниз и стараюсь прибить себя ко дну, зарыться в песок, стать камнями, нет, лучше обточенными стеклышками.

Прибиться никогда не получается достаточно. Я не открываю глаз, когда пытаюсь вписаться в море. Я делаю неосторожный вдох, и вода начинает заплывать в рот. Горечь пробирается в глубину глотки и разрезает меня. Прямо как стеклышки. Границы памяти, как и границы воды, нащупать очень сложно.

Я хочу держать слова в руках хлебными крошками. Чтобы в любой момент лишиться их места, пересадить, перекопать, утопить. Я очень люблю иметь контроль. Вчера я узнала, что отдала 36 рублей в стоматологии, потому что в организме нехватка кальция. Сначала записала это в заметки, не закрывая вкладку, потом перенесла на клочок бумаги. Потом я решила написать тебе. Это был бы типа small talk насчет того, как смешно получилось, я же вот как раз допила витамины с повышенным содержанием кальция. Даже не повышенным, там просто таблетка из кальция. Хотя это звучит уж точно странно, я тебе такое не напишу. Таблетка же не может быть полностью из кальция.

Каждый раз, когда я тебе пишу, я обнуляю границы. Они вытираются легко, как мел с доски, и тогда я чувствую себя старой гнилой тряпкой, которая их впитывает.

Иногда я трогаю свои родинки, проверяю, не стали ли они больше или меньше. Если бы вдруг они изменились, я бы очень испугалась. Это когда начинаешь видеть плохие знаки. Прикасаюсь к каждой подушечкой указательного пальца, надавливаю, палец становится холодным, а родинка нагревается. Приятно, что она осталась на месте, где я ее помню.

Когда я не могла связаться ни с кем утром прошлого года, меня чуть не стошнило. Живот был связан веревками. Это такая страшная складка воспоминания, что я боюсь ее трогать, вдруг она изменит форму, и я забуду, какой она была раньше. Я, конечно, рано или поздно все равно забуду, но лучше поздно. У меня будет время изучить ее получше и запомнить ее резкость.

Что я хочу понять в этом тексте? Началось ли это тогда, в ванной, когда я была ребенком? Все-таки забыть — это огромная работа. Почему пахло железом? Может, ударившись головой, я подумала, что надломилась? Что, если мне привиделась кровавая чернота и я, разволновавшись, почувствовала ее запах?

Странно, что я не нахожу следов. Любая жидкость оставляет следы. У моей вымышленной крови был соленый запах. Я стараюсь подумать об этом сейчас, пока еще уверена хотя бы в этом.

Увогуле ўся гісторыя з вадкасцю мяне захапляе.

Усё так правільна сышлося, я і яна. У мяне водны знак задзяку, я навучылася плаваць даволі рана, прасіла бацькоў вадзіць мяне на возера ўлетку, а калі наша возера ля дома зарасло чаротам, я і там плавала, чаплялася нагамі за ціну, верашчала ад страху і захаплення. У сяброўкі ці знаёмай маёй маці там, у возеры, патануў сын. Я гэтага хлопчыка не памятала, мабыць, ён даўжэй жыў пад вадой, чым у суседнім доме. Калі чаплялася нагамі за ціну, уяўляла, што гэта ён хапае мяне і заве гуляцца, таму мне было і страшна, і весела. А потым мы з сям'ёй паехалі купацца на Сож і бацька згубіў там свой срэбраны крыжык. Мы доўга яго шукалі, тады бацька яшчэ дужа добра ныраў і я нырала з ім, хаця вада ў Сожы звычайна карычневая — такая, быццам выплыла з каналізацыі. Памятаю хваліста-цёплую воду і пясок пад нагамі, перамешаны з аскепкамі бутэлек і ракавінак, якія балюча рэзалі стопы. Крыжык мы не знайшлі і ўвогуле больш ніколі сям'ёй на раку не ездзілі.

Преподаватель по физиологии человека сказал, что есть люди, которые не умеют забывать (Джилл Прайс).

Ноччу з А. гаварылі пра паралельныя сусветы і тое, куды вандруе душа, калі мы спім. Яна папярэдзіла, што не верыць у гэта, але думаць пра гэта цікава: недзе ў такім жа часе і прасторы, як мы, існуе, напраклыд, васьмігадовая Ліза, зменшаная я. Гэта мяне вельмі расчуліла. А потым мы абмяркоўвалі дэжавю і я расказала, што перажываю дэжавю падчас база-

вых дзеянняў. То бок магу сядзець насупраць чалавек-ка ў пэўных абставінах і раптам адчуць, што менавіта так чалавек і сядзеў некалі, ці будзе сядзець, ці сядзіць у паралельным свеце. А. сказала, што дэжаву — гэта калі будучая ты даеш сабе цяперашняй падказкі, каб штосьці змяніць. Я ляжала з заплюшчанымі вачыма і плакала, збіраючы слёзы як у бочку, закрытую крышкай. Урэшце мы вырашылі, што цяперашні, прошлы і будучы час павінны віцца разам, павінны ўзаемадзейнічаць, распадацца і зноў сшывацца. Я павінна была столькі разоў сабе падказаць, і чамусьці ўсё роўна маўчала.

Ранней весной прошлого года я на кухне (в пятиэтажной хрущевке) прижимаюсь коленями к батарее и высовываю голову из окна. Руки потеют, я слушаю отдаленный шепот телевизора и щелканье компьютерной мышки. Сначала я приходила, но мы вовсе не говорили.

Рассматриваю газовую конфорку. В пластмассовой коробке из-под полуфабрикатов лежит печенье. А хлеб под столом. Хлеб обязательно под столом. Рядом с часами висят ножницы и лунный календарь. Пять пролетов над землей и лунный календарь. Сверхвозможное расстояние.

Люблю водить В. пить кофе. Мы познакомились лет 5 назад, переписывались несколько месяцев, встретились на автобусной остановке и пошли на мост. Это должно звучать очень странно, но тогда



вышло совсем естественно. Если я держу ее за руку, то должна делать маленькие перерывы, иначе руки становятся невыносимо мокрыми. Как-то перед сном мне пришло в голову что-то важное, о чем хочу сказать ей. А потом я заснула. Дни отводят меня дальше и дальше от этого перекося. И, проснувшись, я помню только, как ее реплики в ответ мне смываются. Она опять ничего не взяла в хорошем кафе возле вокзала. Мы сидим рядом уже который вечер и я говорю ей о своей памяти. Там, где мы с В. выросли, вода в реке весной всегда выходит из берегов.

Хачу прызнацца табе: я мару стаць кваркам. Мне легка гэта ўявіць. Я маленькая-маленькая. Ты маленькая-маленькая. Кварчаняты. Не хачу, каб між намі было больш сувязяў, хачу, наадварот, нас развязаць. Перад тым як напісаць самы першы абзац гэтага тэксту, я занатавала: тэкст павінен развязаць маё цела. Няпраўда. Тэкст павінен развязаць нас.

Пару дней назад мы с А. іграли в «удаленное видение». Она объяснила мне, что его можно тренировать и что это похоже на интуицию. На сайте она выбрала каждой из нас шестизначный код, и по этим шести цифрам мы пробовали нарисовать то, что чувствуем. Я неправильно поняла задание и потому рисовала ассоциации с этим числом, тогда как нужно было пробовать почувствовать, что лежит «под» ним. Итак, на шестизначный набор 090222 я нари-

совала: сумку в песке, снег, забор, огромный батон и одеяло на стуле. Потом мне стало казаться, что эти цифры я уже видела. Я стояла на кухне и отчаянно потела. Пар выходил из кастрюли, и я пыталась как можно скорее записать его. Наверное, мой код — это дата. Это странная сенсбилизация, я смотрю на даты, но под ногтями воск и плавленый сыр. Каждая цифра перекалибровывается и оставляет возле себя выжженное твердое пространство. Вчера я чистила картошку, 09 — я чистила картошку, 22 — картошка сгорела, 090222 — на выжженном пространстве гладкая картофельная гортань.

Может быть, я нашла след.

Может быть, след — это я на обеде в столовой.

Может быть, след — это упругая пульсирующая боль в голове.

Может быть, след — это соленый пот или горелая картошка.

Может быть, след — это

Господи, я просто хочу оставить это себе.

Памяць цвёрда расейваецца паміж нервовымі клеткамі. Яны ўздрыгваюць, абдымаюць адна адну і ствараюць халодны жах, які праз мілісекунды пацягнецца па целе. Вось і жывот: цэнтраімкліва сшываецца скобкамі, пакуль не дасягне пупка, і фарміруе варонку. Горла рэфлектыўна звужаецца і гарачэе. Па ім спаўзае ў варонку яшчэ адна скоба. Гэта скоба аддае металам, слінай і лясным густым мохам. Яна даходзіць да варонкі ў цэнтры жывата і робіць

апошні сашчэп. Удосталь аблізвае живот шырокім языком.

Мне вельмі цяжка працаваць з гэтым тэкстам, ён мяне пужае. Я не люблю гаварыць пра свой страх і сорам. Я пішу на дзвюх мовах, каб не страціць словаў абедзвюх, і мне страшна і сорамна гэта вызнаваць. Ствараецца такая туманнасць і аддаленасць, што я пачынаю ўспрымаць саму сябе нярэзка. Усё, што я пішу, выходзіць ірваным, парэзаным на кускамі мясам, я, торгаючыся, раскладаю яго па скрынях. Я баюся пісаць, таму што надыходзіць момант, калі мне проста патрэбна твая рука, і я ведаю, мы не трымаліся за рукі, але метафарычна прашу цябе пра гэта. Каб ты трымалася за напаўісную мяне. Нават калі мы з табой былі б кваркамі ў паралельным сусвеце. Нават калі мы насамрэч і ёсць кваркі.

Я перастаю памятаць, дзе менавіта месцяцца радзімкі на маёй назе — намагалася сцерці ўчора нейкую гразь са ступні.

Калі б ты падала мне сваю руку, я б узгадала.

Я праўда не ведаю, навошта тут ты. Гэты ж тэкст пра мяне і Джыл Прайс, паралельны сусвет, рэкі глыбінёй у руку, падзенне ў ванну, затоплены крыжык. Але, як бы я ні старалася, у рэчах, якія больш мне не даступныя, становіцца больш і больш тваёй прысутнасці, і я пакуль зусім не ведаю, што з гэтым рабіць.

КУРС ТАТЬЯНЫ ЗАМИРОВСКОЙ

ТОНИ  
ЛАШДЕН

ЗЕМЛЯ

ЖИВЫХ

Сон всегда начинался с середины, с одного и того же места. Крупным планом шло напряженное лицо Марийки.

Марийка тащила чемодан вверх по лестнице. Чемодан недовольно раздувался, взбирался по ступенькам с тяжелой одышкой и грузно бухался после каждого подъема, бил металлическим основанием Марийку в косточку в голеностопе. Марийка знала: будет синяк, и от каждой новой ступеньки синяк въедался все глубже.

Во сне Марийка была впечатана в тонкую, липкую мембрану, через которую она видела себя и была собой — такой была магия этой сцены. Скрученная, натуженная от усилий, Марийка карабкалась все выше и выше. Где-то на середине лестницы, выжатая и изошедшая на горький, едкий пот, от которого щипало в глазах, она останавливалась. Пыталась отдышаться. Вытирала пот, вытирала руки о штаны, снова вытирала лицо — одинаковые, размноженные действия — и крепко держала чемодан, держала его так сильно, что пальцы, забыв другие формы, другие сочетания прикосновений, запоминали себя только как хватку, как цепь, как оковы. Марийка отворачивалась от чемодана, выпускала его из поля зрения буквально на секунду. Ее утягивало темное, напряженное море, рыскающее у набережной. Так волк ходит из угла в угол в клетке, мечется, ждет возможности наброситься.

Чемодан выскользнул из рук, он всегда выскользнул из рук. Марийка, потеряв равновесие, оступалась. Дальше события насаживали друг на друга, перемешивались в гущу и, как пена, стекали по лестнице.

Оступившись, Марийка отпускала чемодан,	Чемодан ухал — и оказывался в воздухе,	Волна разбивалась о ступеньки лестницы,
Ударялась коленом о ступеньки и оседала от резкой, электриче- ской боли,	И почему-то уже в воздухе раздавался хлопок удара о землю,	Шипело, рычало, лаяло море, сорвавшись с цепи,
Зло ругалась, ругалась зло, колко,	Треск молнии, звонкий отскок сломавшегося колесика и	Комично смеялась чайка грудным, полым хохотом.

Раньше Марийка видела это в кино, теперь она видела это во сне: повторяющуюся цепь событий, звенья которой подстраивались друг под друга в процессе (но процесс этот был заранее известным и предрешенным).

В полете чемодан распахивал пасть. Из его беззубого рта вываливалось вязкое черное содержимое. Марийка начинала кричать. Она кричала на одной ноте, не пытаясь передать своим криком ничего, кроме страшной пустоты, возникающей в ее животе и растущей до самого горла.

Чемодан падал на ступеньки с чавкающим звуком, так падает тело, так лопается кожа. Он переворачивался, хлюпал — и из него все сыпалось, и сыпалось, и сыпалось. Влажные комья земли. Чернозем, который Марийка тащила на себе, чтобы сделать новую родину, вылепить ее из земли, тайком утащенной, выкраденной по ложечке из места, куда больше нельзя будет вернуться.

Марийка знала: это рассыпается ее страна. Она бросалась к комьям этой земли, жменями рассовывала ее по карманам, снимала рубашку, забрасывала на нее землю, чтобы больше унести, несла эту землю в ладонях, прижимала к груди.

Но земля рассыпалась, она рассыпалась, рассыпалась — и ничего нельзя было с этим сделать, ничего нельзя было собрать воедино или вернуть. Марийка смотрела на свои грязные руки, на свою испачканную одежду, на чемодан, скатившийся к самому краю лестницы. Марийка спускалась к нему — и сон показывал дальний план. Крошечная Марийка, растянутый шлейф черной раны на лестнице.

Стоя у самого края набережной, Марийка смотрела, как море жадно слизывает землю, и понимала, что родина снова выскользнула, вывернулась, утекла сквозь пальцы.

\*

Она была почвой; тяжелой, напитанной дождем почвой, внутри которой росла тревога. Не прирученное, утешенное, убаюканное таблетками чувство, а злая, одичавшая и отбившаяся от рук тревога. Эта тревога скручивала мышцы, как мокрую тряпку, выжимала из Марийки последние силы и цеплялась за появившуюся полость. Тревога была крепкой, на этой слезами и кровью порослью, уходящей в самую сердцевину ее тела. Марийка думала о ней как о сорняке, как о кусте одуванчика: рубишь корень — а он исходит на гадкую молочную сукровицу.

Через пару месяцев после переезда Марийка перестала спать. Лежала в безопасной стерильной квартире, где ничто не напоминало о предыдущей жизни (о той, где был и страх ареста, и постоянное мазохистское ожидание обыска) — и не могла уснуть.

Слушала шорох проспекта: привычный, почти домашний. Она жила десятилетиями в похожем шорохе в стране за несколько тысяч километров от своей нынешней точки, и каждую ночь казалось, что иллюзия почти повторяет реальность, еще немного — и она окажется дома.



Воспоминания поднимались, как поднимается море в прибое, — Марийка думала о проспекте, тут же мелкими брызгами шли и другие сцены. Она мгновенно начинала думать про гам центрального универсама, про специфический запах алкоголя и выпечки, про торт «Мечта» с кремом на вареной сгущенке. Про ширину проспекта, на котором она компактно занимала именно свое место и гуляла, чувствуя исключительный комфорт от разницы масштабов себя (маленькой) и советской архитектуры (колоссальных размеров). Марийка думала про свой покинутый двор, про свой утраченный город, про маршруты прогулок и путешествий, которые ее тело могло пройти на автомате, настолько привычными они были.

Ближе к утру она открывала новости городского журнала — таким был ее новый ритуал. Она искала топливо для своей ностальгии, но из дома не приходило никаких поддерживающих новостей. Наоборот, все новости ясно давали понять: думать о возвращении и уж тем более возвращаться не нужно. Марийка читала о планируемых закрытиях, о уже свершившихся закрытиях, об оплаканных и отпразднованных закрытиях; город сужался. В ее личной реконструированной карте приходилось постоянно вычеркивать и вытирать места. Больше нет книжного, куда она ходила, и кофейни нет, и бара нет, и места, где она покупала свечи, и костел тоже закрыли — пустота, пустота, пустота.

Именно к утру и появлялись боли. Начинало болеть в центре живота, а потом как будто сползало к яичникам. Там боль вплеталась в заросли тревоги и расцветала кислотным ярко-фиолетовым цветком. Марийка была парализована — казалось, что тело травит ее изнутри. Она ложилась на спину, и со стороны поясницы появлялись колючие, острые спазмы, похожие на чертополох. Марийка видела себя полем, лугом, клумбой, вазоном для растущих страхов и беспокойств.

Родина крошилась, как курабье, или — даже более приближенно к реальности — как брикет сухого торфа. Крошилась в мелкую скрипучую пыль, которая ни на что не годилась и о которой сложно было по-настоящему горевать. Эта пыль оседала на одежде, от нее появлялся глубокий кашель, как от пневмонии, но больше — ничего.

Родина была местом трагедии, которое невозможно отличить от тысячи других мест. Руинами, в которых ничего не произошло, и значит, не о чем было скорбеть.

\*

Чужая страна сжимала ладонь вокруг нее: Марийка была ограничена пространством своей квартиры, магазина неподалеку и ларька с фруктами, где можно было заплатить картой — всё остальное требовало от нее чрезвычайных усилий.

Она бы и не пошла к врачу, если бы не черные выделения. Сняв белье, Марийка долго осматривала влажный иссиня-черный подтек. Сказала себе вслух: «Всего лишь менструация», — и положила белье в стирку. По календарю месячные должны были вот-вот наступить.

Ближе к вечеру белье пришлось менять снова. Черная слизь стала гуще. Марийка замочила трусы, но пятно не отходило. Она развела порошок, добавила в раковину кипятка и начала тереть ткань. С нажимом пятно поддавалось: вода помутнела, превратилась в коричневую дождевую лужу.

Марийка боялась гинекологических осмотров. Эти визиты были пропитаны хлорированным запахом унижения и зависимости. В чужой стране у Марийки не было страховки. У неё не было подруг, которые могли бы посоветовать ей врача. У нее не было знакомых, к которым она могла была обратиться. Марийка двигалась наощупь: погуглила, почитала рекомендации. Несколько часов пыталась собраться с силами, брала телефон и откладывала его, брала и откладывала. Разозлилась на себя за это, строго отчитала, неожиданно расплакалась от этой жесткости и, всхлипывая от детской, горькой обиды, все-таки набрала номер.

На прием ее записали в тот же день. В кабинете Марийка не знала, с чего начать.

«Располагайтесь на кресле. Нужно снять все, включая белье», – русский язык зашуршал, застучал согласными, как галька на берегу.

Марийка была стрекозой, приколотой на булавку; цветком акации, высушенным между страниц. Обездвиженная, обессиленная, открытая для взгляда. Она раздвинула ноги и услышала, как на пол кабинета что-то просыпалось. Докторка привстала из-за тола и, надев перчатки, присела на стул.

«Что вы делали в последнее время?»

Марийке нечего было ответить. Она нигде не была, никуда не ходила. Половой жизнью живете? Нет. А почему? Такая ладная девушка. Марийка улыбнулась, хотя улыбаться не хотелось. Докторка вставила в нее зеркало, Марийка считала про себя: три-девять-двенадцать (секунды дискомфорта), потом потрогала что-то пальцами – и всё закончилось.

«Можете одеваться».

Ничего подозрительного или опасного нет. Просто следы земли.

«Вы подмывайтесь более тщательно – и ничего беспокоить вас не должно больше».

Придя домой, закрывшись в ванной и пустив горячую воду, Марийка оттирала свою вульву, пока

та не исчезла в жгучей рези. Побрилась, ошпарила почти что кипятком, промыла средством для интимной гигиены, выбросила еще одни испачканные трусы.

Было стыдно. Было стыдно. Было стыдно.

\*

Проснулась Марийка от жжения. Боль пульсировала между ног, откатывалась от поясницы тяжелым, замшелым валуном. Марийка стянула белье, стала расчесывать ноющий лобок и створки вульвы. Ногти царапали клитор, жжение как будто шло изнутри. Марийка утопила ладонь в мягком животе; боль изогнулась дугой, пошла рябью.

Все болело и чесалось. Сначала с раздражением, потом с нарастающим страхом (это цистит? Молочница? Какая-то аллергия? — вопросы слипались в один тошнотворный ком беспокойства: где взять деньги на лечение) Марийка трогала, давила, раздирала себя и, перевернувшись на бок, охнула от слепящей рези.

Откинув одеяло на пол, она понемногу вернулась на спину, раздвинула ноги, распласталась на кровати, как уставшее, загнанное животное. Влагалище сокращалось от мышечного спазма; болезненно сухое, оно словно трескалось. Марийка перехватила боль поперек живота, перетекла на пол, хлопнула по выключателю, мелкими шажками пошла в ван-

ную, каждую секунду ожидая, как боль вырвется из ее хватки, разольется зеленоватой гущей.

Почти дойдя до двери, Марийка обернулась и взглянула на кровать.

Кровать была засыпана черными крошками. От ужаса Марийка выпрямилась, забыла про спазмы – скоро, решительно подошла к кровати. Это что, клопы? Тревога, перемешанная с отвращением, отскакивала внутри, как упругий мячик. У нее в квартире никогда не было клопов.

Но на кровати не было никаких насекомых.

Белая простыня была покрыта мелкими крошками сухой земли.

Все было в земле.

\*

Дом был гноящейся сердцевинной тревоги. Только находясь в самом ее центре, Марийка чувствовала себя спокойно. Покидая квартиру, Марийка чувствовала себя обнаженной, или даже – счищенной до мяса, без-кожей.

На лестничной клетке Марийка опиралась ладонью о сырую стену, покрытую влажной испариной, и перечисляла все различия между ее домом сейчас

и ее домом в прошлом. Нет цветов в тамбуре, нет календаря с государственными праздниками, зато есть решетка перед входом в подвал, у подъезда растет виноград, белье сушится на веревках прямо во дворе – Марийка составляла множество таких списков, детально перечисляла все различия, конспектировала и обращала свое внимание на мелочи, чтобы точно быть уверенной: она в другом месте.

Подходя к двери подъезда, Марийка задерживала дыхание. Опасность мерцала, переливалась на солнце – Марийке требовалось время и усилие, чтобы убедить себя шагнуть в холодную воду. И все равно, несмотря на все приготовления, открывая дверь, она ждала удара. Ее тело сжималось, знакомая, тянущая боль прорастала в пояснице, колючим ершом выходил воздух – и Марийка замирала, замирала от фантомного ужаса, у которого не было ни начала, ни конца. Она застывала в проходе, обездвиженная этим переживанием, переполненная им до края, подмахивала ладонью, пытаясь вычерпать из себя этот ужас.

Ее тело помнило, знало, подсказывало, каким страх был на вкус, на ощупь, на запах. Оно мгновенно впитывало эту свинцовую мертвую воду – Марийка тяжелела, грузно повисала на двери подъезда и через силу вытягивала себя во двор. Все смешивалось, плыло. Двор терял свои очертания: перила с выстиранным бельем превращались в заросли гортензий, парковка становилась детской площад-

кой, на Марийку наваливался разноголосый шум.

Она возвращалась после марша вечером, когда большая колонна протеста уже расщепилась. Люди маленькими группками переходили из двора в двор, пытались выбраться из центра города, замазанного черными ограждениями силовиков. Марийка быстро передвигалась по городу, вспыхивающему ударами, драками, криками, пока не дошла до автобуса — он ехал почти к самому дому. Чем дальше они уезжали от центра, тем менее реальными казались последние несколько часов. Энергия уходила; Марийка стала ватной, набухшей от усталости. Она рассматривала свои ладони: красные, обветренные, скрюченные от напряжения. На марше она несла плакат, боялась, что его вырвут — ее пальцы застыли хваткой, цепью, оковами.

Остановка автобуса была на пригорке, с нее можно было увидеть улицу и краюшку двора. Выйдя из автобуса в душный августовский вечер, Марийка заметила движение. Черное злое пятно гналось за двумя подростками. Она смотрела на эту погоню, но была отрезана от происходящего белесой пеленой, фигурки двигались в другой плоскости. Вдруг черное пятно споткнулось — и разбилось на части, как сервизное блюдо. Марийка неожиданно для себя засмеялась, глядя, как силовик, неловко барахтаясь, пытался подняться. Остатки черной охоты, рыча на убежавших, остановились невдалеке от него.



Марийка смеялась, в ее смехе было много облегчения, так смеются, когда чудовище в шкафу оказалось смятой рубашкой. Может, она смеялась слишком громко, а может, не было никакой логики в том, кого они догоняли и на кого была направлена их злость, но, когда он поднялся,

Когда Он Поднялся,

Когда ОН ПОДНЯЛСЯ,

Он повернулся к Марийке. Она не видела его лица под шлемом, она не видела его глаз, была только черная пустота, контур тела, вычеркнутого из пространства. Ее смех переломился надвое, и из его надломанной середины протек страх. Марийка испугалась — жгучая резиновая жижка растеклась ото рта к низу живота — и, когда он окликнул стаю, Марийка побежала.

Она побежала к подъезду соседей. Она не слышала ни грузного бега за собой, ни лая и ругани стаи, ни грохота своего сбитого дыхания. Она превратилась в желание быть в безопасности, сузилась до одной этой точки — она стала набирать номер квартиры, один, другой, и на третий раз кто-то открыл дверь и она ввалилась в сырой погреб подъезда, как мешок картошки, и сразу же начала плакать, дрожать и плакать, плакать взхлеб от того, как страшно было.

Она прислушивалась к происходящему снаружи, она сидела, вжавшись в стену, считала секунды, минуты. За окном стало совсем темно. Только тогда она решила снова попытаться добраться домой.

Как только она вышла за дверь, ее схватили сзади за волосы.

Марийка не успела понять, что происходит, не успела разместить себя в пространстве, не успела сгруппироваться. В спину посыпались удары. Били без осторожности, били зло, вымещая на ней все неудачи дня, недели, месяца протестов.

«Думаешь, ты самая умная, сука?» — он бил ее отчаянно, чувствуя право бить и причинять боль. Марийка не успевала закрываться, поэтому он бил как попадет: по спине, по почкам, по бедрам. Наступил на ее ладонь и с каким-то непонятным садизмом вдавил ботинок в пальцы (и только тогда они выпрямились, только тогда Марийка разжала ладонь).

«Ты у меня землю жрать будешь», — он снова ударил Марийку ногой в бок, и, упав на живот, она так и осталась лежать. Он затих у нее за спиной. Марийка ни о чем не думала, ничего не ждала. Может, нужно было попытаться сбежать? Но ее тело было тяжелым от боли, она не могла пошевелиться.

Он нагнулся над Марийкой. Все происходило медленно: он тоже устал, но насилие требовало

завершения. Он ухватил Марийку за волосы и потянул за собой. Все трещало и искрилось, Марийка попыталась встать на четвереньки, но он ударил ее по руке, та по-дурацки согнулась, вильнула, и Марийка снова упала. Он волок ее, он дергал ее, он покрикивал на нее, а потом — остановился у клумбы.

Марийка снова попыталась привстать. Вдалеке слышалось гулкое подвывание, как будто кто-то тихо тянул «у». Марийка потянулась рукой ко рту и поняла, что это воет она сама.

Он подпихнул Марийку ботинком, и тогда она подняла к нему голову. Он был расплывающимся черным пятном, он присел к ней и с силой ткнул ее в разбитое лицо.

«Жри, кому говорю».

Она не поняла. Тогда он снова ухватил ее за волосы и подтянул к бетонной вазе, в которой росли петунии.

«Жри».

Марийка зачерпнула горсть земли из клумбы и поднесла ко рту. Она плакала? Наверное. Земля была соленой.

Земля была перемешана с кровью, земля была перемешана со слезами.

\*

Марийка купила себе билет через два дня, когда смогла разогнуть синие пальцы.

Уже сидя в самолете, спрятанная в байку, маску, солнечные очки, укутанная в ссадины, растяжения, трещины, она не могла перестать водить языком по зубам. Казалось, что земля осталась во рту.

Она боялась, что ее начнут досматривать на границе, найдут эту землю, станут допытываться, что это она везет и куда.

Но никто не спрашивал ее. Пограничники смотрели на ее разбитое лицо и не задавали вопросов.

\*

Выйдя из самолета, Марийка начала тренироваться забывать. Она хотела забыть и свой родной город, и очертания родины, ее изломанный контур, и все, что было связано с тем местом. Она тренировалась забывать, как тренируются пловчихи. Мощно отталкивалась от воспоминания и скользила в воде, пока кромка события не расплывалась, не уходила в мутную синеву.

Марийка тренировалась каждый день. Она много спала (во сне ничего не нужно помнить и ни о чем не нужно думать), она растягивала память, запол-

няла ее мелочами и наблюдениями о новой стране. Дребезжащее, осколочное прошлое сточилось — Марийка смогла отгородиться от него, притвориться, что его никогда и не было. Она началась в новой стране с пустого места: не было ни истории, которую она хотела рассказать, ни памяти, которую она удерживала.

В день, когда она вроде бы все забыла, ей приснился сон про землю.

\*

На грудь что-то давило. Вдох переламывался надвое, и, поверхностно вдохнув, Марийка засипела. Спросонья она потянулась к шее, но руки оказались прижаты к кровати какой-то тяжестью.

Марийка открыла глаза. В комнате было темно. Еле-еле занимался рассвет. Потихоньку она достала одну руку из-под покрывала — и то словно рассыпалось, разошлось по швам под ладонью. Марийка включила телефон и посветила на кровать.

Земля лежала на кровати щедрыми комьями. Она была рассыпана на полу, на тумбочке, на подоконнике. Земля была повсюду. Сама Марийка была укутана в толстый слой чернозема. От сухой, прогретой на солнце земли шло мягкое, равномерное тепло.

Марийка замерла в своем земляном коконе. Она прислушивалась к телу: искала знаки тревоги или страха, зуд напряжения. Но тело молчало.

Пошевелившись, Марийка разрушила кокон и смогла достать вторую руку. Она начала сгребать с себя землю на сторону и, полностью себя откопав, встала рядом с кроватью. Разрушенный кокон казался разрытой могилой.

Земля пахла петуниями. Марийка наклонилась к кровати и открыла рот, чтобы съесть этот запах. Так пахло лето в ее городе, так пахло рядом с ее подъездом и на ее балконе. Марийка начала плакать, но это были легкие слезы.

Марийка зачерпнула землю с края кровати, стала утрамбовывать ее в центре. Она сгребала землю в кучу, а потом разравнивала ее, делала низенькие стенки. Донесла землю с пола и подоконника, выстлала ею дно. В комнате стало сладко от цветочного запаха.

Когда земля закончилась, Марийка отошла от кровати на несколько шагов. На кровати лежал слой земли, сантиметров в пять, в центре которого была выемка. Аккуратно забравшись на кровать и расположившись в выемке, Марийка поджала под себя колени.

Марийка сделала себе норку — и уснула в ней.

АНТОН

КЛИМОВИЧ

БЕЗ

НАЗВЫ

— Так, дождь начинается, получается?  
И что же делать?

— Мне кажется, можно просто под деревьями.  
Ты думаешь вперед? Там мы можем подняться, а там не знаю.

— Ох, как мне нравится здесь.

— Мне тоже все очень нравится.

— Мне нравятся твои ответы.

— Да? Здорово.

— Мы можем прогуляться. Вдруг там будет что-то такое.

— Здесь можно удобно сесть.

— Да. Только вокруг вода холодная.

— Если б мы были жабки, то нам было бы вообще клево. Почему мы не жабки, да? То есть мы всегда животные, но хочется быть какими-то определенными животными, да. Скорее, эм... Возможность метаморфозы с собой претерпевать очень быстро.

— Ага.

— А этот камень очень похож на жабу, правда?

— Да. А вдруг это реально жаба.

— Ну я трогаю ее, и она как камень.

— Ну в прошлом.

— Но для меня, честно...

П. всегда мешает языки: иногда на уровне фраз, иногда слов, иногда звуков. Меня может раздражать, когда это делают другие, но с ней мне всегда радостно наблюдать за этими смешными столкновениями. У нее много татуировок и пирсинга — но я не знаю сколько наверняка.



Один раз мы вместе с П. ездили в лес рядом с моим родителями, чтобы я закопал органику. Я возил ее в прозрачном оранжевом прямоугольном ведре. Потом П. узнала, что после нее я тоже брал кого-то в родительский лес, чтобы выбросить органику — и расстроилась. За тем лесом было озеро Цнянка, вокруг которого мы катались, потому что я мог одолжить ей коричневый городской велосипед своей бывшей девушки. Мы переходили с острова до берега вброд, держа наши велосипеды и рюкзаки над головой. Остров с берегом соединяет один мост и одна земляная смычка, так что технически это не остров.

— Смотри, может, мне эти камни не брать и мне одного хватит? Зачем мне хапать, да?

— Да, одного, думаю, хватит.

— А с этими я поиграюсь.

— Их количество очень взаимозаменяемое. Как же тут классно. Дождь — это, по сути, просто больше воды.

— Пха-ха!

— А больше воды — это больше жизни. А потом я подумал: «Да, но может стать холодно».

— Это надо было записывать. Тебе идет моя рубашка.

— Да, мне тоже очень нравится.

— Она офигенная и удобная. Я ее обожаю.

Однажды П. познакомила меня с А.; мы ночевали у меня дома на одной кровати, а утром пры-

гали на ней с гитарами, и я учил их играть Smoke on the Water.

А. выше меня. У нее длинные волнистые волосы цвета миндаля и сине-зеленые глаза. Она любит носить рубашки на майку и широкие шаровары из тонкой легкой ткани, собирать вишневые листья, чтобы высушить их и сделать ферментированный чай. В баптистской церкви она училась английскому, в кришнаитском храме она училась йоге и медитации. Она приятно слушает, и мне кажется, что я могу рассказать ей что-то важное.

Когда-то П. и А. жили в разных городах и писали друг другу письма. Хранили их в коробках. Познакомились в санатории — и несколько лет писали друг другу письма.

— Что я говорил... А, ну что может стать холодно. И поэтому мы думаем о болезни, мы думаем о простуде, и поэтому убегаем от дождя. Но если убрать прогнозирование про холод и болезнь, то дождь — это очень приятное событие.

— Подожди... «Если думать про прогнозирование...»

— Если убрать прогнозирование.

— А, убрать! То дождь — это...?

— Дождь — это приятное событие.

— Ха-ха-ха! «Дождь — это приятное событие».

Я это запишу.

— Ха-ха!

На один ее день рождения я подарил П. прозрачные голубые плаги с белыми медузами. И, наверное, банку арахисовой пасты. Она долго меня обнимала, пока мы стояли у входа в общагу на Машерова, и говорила, что у меня слишком тонкое пальто для февраля. Потом мы гуляли в окрестностях и представляли, как вместе поедем в Берлин или Киев.

А. я дарил ароматические палочки в желтой картонной коробке, горшочное растение с желтыми цветами и носки в белую и желтую полоску: она много танцует, и носки быстро протираются. Мы приехали в город к А. вместе с П. и много готовили втроем — на кухне приходилось с места на место переставлять клетку с хомячком, чтобы освободить пространство для продуктов или тарелок.

— Приятное событие. Что-то ты еще говорил...

— А еще клево, что, по сути, это — дно реки, и можем по нему ходить. Знаешь, обычно вот хочется — когда мы с тобой видели то прозрачное озеро, правда, хотелось попасть в глубину? А сейчас мы немножко позволяем себе это сделать, потому что мы как бы на глубине какой-то реки.

— А ты хочешь пойти?

— Ну мне и идти хорошо, и тут хорошо.

— Как будто дождь увеличивается. Думаю, можем двигать.

— Если вспомнить о прогнозах, и холоде, и болезнях...

— Да нет, не будем про это, просто пойдём.

Мне кажется, не говорить о неприятных вещах тоже нормально. Хотя, когда ты просишь не говорить, сразу хочется. Мысль направляется в точку наибольшего сопротивления.

Когда мы встретились впервые, у П. были синие волосы и короткое светлое платье в синие и розовые цветочки. Мы лежали под деревом в саду нашей знакомой. Я переживал, что в апреле еще слишком холодно, чтобы лежать на траве так долго с голыми ногами в таком тонком платье. До этого П. споткнулась на лестнице и потянула лодыжку.

Я мог бы тебе рассказать, как больно мне позавчера ударили в связку под косточкой ступни. Это уже не первый раз — синяка не остается, но так больно, что хочется плакать. И ты бы тоже мог мне такое рассказать. Когда я вижу, как тебе больно, я вижу тебя.

В другой раз, когда я не видел П. возле общаги, я уже хотел ей писать, чтобы она вышла, но она внезапно подошла ко мне сзади и обняла вместо того, чтобы окликнуть, так мягко и аккуратно, что я не испугался и, наоборот, как-то искупался в чувстве нежности. А потом она грела мне руки. И на прощание поцеловала в щеку.

— Мы молодцы, что сюда залезли. О, смотри, там тоже классные камни, и... Пряма кстати дождь закончился.

— Спасибо.

— Что?

— Ну что закончился дождь.

— Да. А я думала мне спасибо, такая: «Мм, за что?»

— Хе-хе.

Мне уже говорили, что я благодарю за вещи, которые можно назвать базовым человеческим уважением. Но если я действительно так благодарен, что мне будет плохо, если я об этом не скажу?

— Они так быстро не растворяются, но уже чувствую такое приятное...

— Здорово.

— Зефир по телу. Ну не зефир по телу, а такое... Блин, у меня сейчас по-другому даже видится. У тебя тоже так было?

— Ну я имею в виду... Я не знаю, как было у тебя.

— Ну вот у меня река красивая. И я такая: «Вау, я все теперь вижу».

— Я просто давно уже начал видеть все.

— Да... Это так круто было.

А. и П. не только писали письма, но и ездили друг к другу в гости. А они тогда еще только в школу ходили. Я испытывал глупое удивление от осознания, что между городами существуют связи без посредничества Минска — как напрямую связаны полость

носа и обонятельная кора, без столицы-таламуса, в которой ведут все дороги. «Мам, можно у меня подруга переночует?» И вот так вот они выкраивали пространство для своих отношений, среди бабушек, новорожденных сестер, побоев отца, грядок и мансард.

— Оно тоже похожие на всякие там... чешую у крокодила... или жабку, или шею черепахи.

— Блин, да. Так круто, что ты это заметил.

— Потому что, наверное, это они приспособливаются под такую среду, чтобы их там не было заметно. Черепах, крокодилов и жаб.

— Блин, мне даже захотелось потрогать все эти пальцы...

— Ты можешь потрогать шею черепахи здесь! Да. Вот особенно здесь.

С П. мы целовались два раза. Один раз на крыше у нее в городе. Было холодно, мы пили вино из горла и ходили справить нужду за самую дальнюю будку вентиляционной шахты. Второй раз — у меня дома, когда она одним глотком опустошила бутылку ореховой «Соплицы», которую я привёз из Польши, а я запротестовал, потому что мне тоже хотелось её допить. И она поделилась.

— Смотри, реально: вот это вот голова, вот это носик. Это глазки.

— Ну это уже на крокодила больше похоже.

— Ууу...

- Видишь: вот тут хвостик такой.
  - Я глажу крокодила. Клёво.
  - Вода очень холодная.
  - Ну крокодил, он, наверное, тоже холодный.
- И мокрый.

Страшный пластилиновый монстр. Черный цвет остается в ложбинках отпечатков пальцев и не смывается. Он плачет или кричит? Мне кажется, плачет. Он стоит между коробочкой с ромашковым чаем и банкой меда у тебя на кухне (точнее, в *aneksie kuchennym*), на него иногда попадает свет из окна над раковиной. О чем он плачет? Не спеши, я могу подождать.

Вместе с П. мы подолгу стояли на моем балконе. Он не был застеклен, поэтому если мы пели песни ночью с открытой балконной дверью, то на нас кричали соседи. На этом балконе мы стояли в обнимку, и она мне что-то рассказывала и плакала, и я тоже начинал плакать.

- Вот я уже чувствую, что ты начинаешь на одном языке со мной говорить.
- Да... Артем!
- Ну ладно...
- Бли-и-ин. Ну-ка поднимайся! Все, не гуляем тут больше. Аккуратно. Ты сильно мокрый или нет? Ха-ха.
- Мокрый и мокрый.
- Ну хорошо.

— Ну мы провели эксперимент и узнали, что надо быть очень осторожными. Или быть готовым...

— К падению.

— ... пошлепать.

— По воде?

— Да.

— Но я опять уже готов пошлепать по воде. Во всех пониманиях.

Ты закрываешь лицо руками. Мне кажется, это не страшно, когда промокают ноги или даже рубашка и майка под ней, даже лицо, даже подбородок. Спасибо за салфетку.

П. часто приходила ночью. Мы делали пиццу с квашеной капустой. У нее всегда был яркий макияж; один раз она готовила чесночные стрелки одетая в черное вечернее платье. Потом мы ели их вместе с хлебом и запивая вином, П. — из бокала, а я — из большой пивной кружки, потому что второго бокала не было; мы ставили их на белую клеенку с черными цветами, ее края были погрызены крысой.

Ты мог разглядеть такие же следы на изнанке моей черной байки — я поставил на том месте прямоугольную заплатку, которая теряла свой черный цвет гораздо быстрее, и теперь она блекло-серая. Но я тоже не рассматривал изнаночную сторону твоей одежды.



— Сколько красивых камней! Сколько красивых камней. Омытые водицей. А камень мой у тебя?

— Да, оба камня у меня.

— Я заметила, что воображение лучше становится. Ну оно не точно, какие-то картинки приходят... Картинки тоже приходят, но в целом...

— Ну мы просто обращаем внимание на вещи вокруг.

— Ну и воображение тоже. Я сразу вижу то, о чем думаю.

— Ну ассоциации...

— Да. Ассоциативные ряды.

— Да. Мы быстрее вспоминаем.

— У тебя жест какой-то такой был...

— Может быть, не знаю.

— Ну вот так... Что-то такое. Мне очень нравятся эти лопухи, прям очень. Но его не засушишь.

— Зачем?

— Он поломается. Да.

— Надо просто смотреть.

— Да. Блин. Давай вот так пойдём...

Красный квадратный осколок плитки, отломанная дверная ручка, бетонный алтарь луговых духов. Ты вытягиваешь корни из земли и рассказываешь мне, как приятно тянуть их вверх, когда они длинные и прочные. Ты готовишь землю, чтобы посадить цветы — я тогда понял, что ты не планируешь переезжать. Представлял, что перееду я и тоже буду вытягивать длинные прочные корни и водружать на алтарь луговых духов свои находки.

- А почему мы отсюда вообще уходим?
- Дальше посмотреть. Погулять.
- Хорошо. Давай. Ой, жаба.
- Да-а, это жаба.
- Такая огромная. Охуенная жаба.
- Ага. Реально.
- Ха-ха.
- Нет, Артем, мне кажется, это большая лягушка.

В августе 2021-го мы встретились с П. в Осмоловке, чтобы я отдал ей заношенные домашние тапочки в форме больших оранжевых собачьих голов с голубой бабочкой на носу и пластиковыми глазами. Эти тапки я взял на работе в организации, занимающейся снижением вреда, куда принесли много пакетов одежды на раздачу. Они мне сразу не очень понравились — но меня как-то уговорили взять. И П. надевала их у меня в гостях. Они были теплыми.

А ты включал для меня обогреватели. Даже предлагал подарить его мне, когда я жаловался, что у меня в квартире слишком холодно, даже когда я выкручу батарею на 5. Ты включал для меня подогревающийся коврик своего кота, и я лежал на нем, и на меня налипала шерсть. Я накрывался одеялом и смотрел на твою комнату, и мне не хотелось никуда уходить.

— Но я потащила Полю в лес. И знаешь, чем я ее покоряла? Я знала название всех мхов на деревьях. И она такая: «Вау!»

- Клево! Клево.
- Вот это подкат, да? «Я знаю мох!»
- А я не знаю про мох. Ты тоже можешь мне рассказывать про мох и я буду покорен. Что это за мох?
- Вот этот не знаю, но он выглядит как плесень.
- Ага, может быть.
- Вот это олений мох... А вот этот как не помню. Там еще на мху бывают такие красные корзиночки, когда он цветет...
- Да, со спорами.
- Споры офигенные. Вот этот голубой такой — олений мох. Потому что он выглядит как рога оленя. Такой бирюзовый.

С тобой точно так же. Ты просишь меня: «Скажи, если я неправильно понимаю эту теорию...» Ты говоришь, что ты благодарен, что ради общения с тобой я готов прилагать усилия и говорить на неродном языке.

— Но я просто ловила ощущение, что я презираю других людей, которые едят мясо. Либо я чувствую себя лучше них. Вот это однозначно гордыня. Одна из форм проявления. А другие это типа... Я знаю таких людей, и меня это немного бесит, которые постоянно такие себя гнобят. Типа: «Ну вот я некрасивая, я недостойная». И человек подсаживается: «Ну нет, нет...»

— И так ты начинаешь бояться страха и стыдиться самого стыда.

— Ну да...

Я был на трех спектаклях А. и дважды ходил с ней в путешествия. В первом путешествии у меня были серебряные волосы, которые мне покрасила П., они немного отливали фиолетовым, как у бабушек. Мы ехали через Киев, где на вокзале на Деміївської мы узнали, что наш автобус отменен, и с большой тревогой и усталостью обращались в разные окошки. Мы купили новые билеты и провели ночь в пути. В Одессе у нас не было забронировано жилья — я нашел какой-то домик, пока мы сидели в кафе, где подключились к интернету. Путь на северную часть побережья был очень далеким. Там мы не нашли вывески по нужному адресу и окружающее казалось мрачным, поэтому мы ушли оттуда в сторону моря. Мы пересекли трамвайные пути и пошли к маленькому проходу в сторону воды между серыми заборами, которые закрывали нежилые строения — на нас пошел охранник с лающей собакой, и мы развернулись. На трамвайной остановке я закричал от истощения, и А. дала мне пощечину.

— Помнишь, как мы сердце горы с тобой нашли?

— А-а. Так вот про деньги.

— А. Ага.

— Вот. Я, наверное, хотел сказать, что... Хотя это не важно уже.

— Ну как. Ну если ты хочешь рассказать, мне важно.

Следующий потенциальный дом был недостроен, в нем не было двери и окон, только проемы, но нам все равно предложили снять его за недорого. Мы там по очереди переоделись в купальники и пошли плавать. Я сразу сгорел. Следующий дом оказался пригодным до жилья, и от него мы ходили к морю мимо дома Анны Ахматовой, рядом с которым была установлена памятная табличка и каменная скамейка, на которой сидела А. и читала мне стихи. Я тоже хотел ей что-нибудь прочесть, чтобы ее впечатлить — в автобусе на рассвете вспоминал письмо Генералу Z, но не решился, боясь запнуться, да и А. все спала и спала.

— Это важно?

— Да, мне интересно.

— Ой, спасибо.

— Вот этот весь... Размышление.

— Что в принципе платить за вещи — это странно, потому что это существует на стыке двух видов экономик. Один вид экономики, который между тобой и мной, допустим. Мы не считаем, кто сколько реально кому должен, и мы делимся всем, допустим, я, и ты, и твои друзья. И твоя семья. И есть другая экономика, которая глобальная, которую мы под «рынком» подразумеваем. И столкновение случается, когда в обычной, такой нашей экономике повседневной, типа взял камушек просто там, я не знаю.

— Ага.

— Взял камушек действительно с пола, и все. Чтобы запомнить о месте. А в той экономике...

- Где нужно что-то покупать.
- Ты покупаешь что-то. И тут зловещий этот стык — что с такой же легкостью, как ты берешь камушек, ты с такой же легкостью отдаешь эти несколько долларов... золотый, гривну. Но в том месте, где раньше денег не было. Ну и что мы такие вещи называем сувенирами... Интересно.

На первый спектакль А. я приехал после бессонной энтактогенной ночи в марте 2021-го. Перед началом представления я сидел в прохладном небольшом фойе у входа в актовый зал и, подрагивая, набирал на своем ноутбуке: «Мерзко от непочищенных зубов. Все-таки сказалось, откуда и после чего я вернулся домой: зарядку от ноута забыл, почистить зубы забыл, забыл позвонить узнать расписание заведующей эндокринологии. Забыл очки. Осталось всего 10 минут до спектакля, время прошло незаметно. Ибуфен заработал, тошнота отошла, и я смог поесть, чтобы немного перебить вкус зубов».

— До этого я искала камни какие-то симпатичные. А тут оно само обратилось на это внимание. Это реально редкие камни, которых — ну, я раньше таких не видела.

— Реально похоже на кожу. Потому что если их немножко тереть, то с них сходит слой грязи.

— Вот я сейчас пальцем вожу.

— И приятное такое ощущение, правда?

— Ага.

— Такая плотная кожа, как у слонов. Морщинистая.

Я не мог почувствовать эмоций, наблюдая танцевальную постановку, и объяснял это А. тем, что я, наверное, сам не танцор и мало взаимодействую со своим телом, поэтому зеркальные нейроны не реагируют. Я завидовал тем людям, которые после представления оживленно беседовали с танцорами и постановщицей. Уже дома мы легли спать в одну кровать, но я чувствовал себя одиноко.

На второе представление А. я ходил в августе 2022-го. Мне понравилось, как много людей соби­рались в одно существо, из которого высывалось множество ног-щупалец.

После выступления мы гуляли с тобой, а потом сидели вместе на остановке, когда уже темнело. Я спросил про один каламбур, который ты придумал на польском, и вместо того, чтобы просто перевести слово, ты продемонстрировал его значение, пощекотав меня за бок. Я смеялся. Эта игра слов сработала бы в английском. Но ты сделал так, чтобы я все равно засмеялся. В автобусе ты погладил меня по спине — а потом я пошел домой один, сообщением уведомив свою лучшую подругу, что я удручен преждевременной утратой компании.

— Они приятные, потому что они связаны с тем, что ты с общностью какой-то, либо что ты один

с миром. Но в любом случае они тебя ставят в контекст. И тебе... И ты набираешься силы от этого.

— Ага.

— Того, что ты один с чем-то. Да. Так вот можно сказать.

— В христианстве у меня по-другому все. Там, когда мы пели вместе. Ну там у меня все равно больше напряжения, там про «правильность», все такое... «Этой глиной мы едины» поет. Грязью то есть, да?

— Да.

На утро после представления с ногами-щупальцами началось наше второе путешествие с А. В первый день мы шли под солнцем, и я снял обувь в попытке охладиться, но потом асфальт, ведущий к Морскому Оку, стал слишком горячим. Мне было тяжело дышать во время подъема, и через несколько часов А. смогла уговорить меня повязать на голову майку. Вечером того же дня мы разделились с группой А. и остались вдвоем в Закопане. У нас не было забронированного жилья. Я нашел домик близко к началу горной тропы, и мы пошли туда — там жил какой-то старик. Он сказал, что дом не сдается, но мы можем постучать в дверь поблизости. Мне было страшно и тревожно, и я просил А. не делать этого. Потом мы заходили в разные отели, стучались в двери, звонили по номерам. Через час А. нашла одно место, где нас приняли — по мебели и постельному белью оно было похоже на старый санаторий. Мы были счастливы, что успели найти что-то до полной темноты. На следующий день



мы пошли в горы, и, как мы договорились за день до этого, в 10 утра я съел марку и включил диктофон.

— Такое ощущение, что в теле очень много пространства. И я прям каждую точку его чувствую. Иногда оно такое залипшее бывает, таким куском. А сейчас...

— Мне надо размять свое пространство.

— Артем, только, пожалуйста...

— Да, я очень аккуратно. Давай ты поддержишь рюкзак, и я вот к тем деревьям.

Третье представление труппы А. я смотрел вместе с П. и ее девушкой в феврале 2023-го. Это была та же самая постановка, что и два года назад. Точнее, ее репетиция, мы были единственными зрителями. После выступления мы гуляли по Люблину, я снимал, как эта троица танцует под игру уличного музыканта. П. и ее девушка уехали раньше, а я остался болтать с А. в баре, где везде были пластинки — как когда-то, когда я ездил к ней в город на ее день рождения в 2019-м и мы ходили в Чашу мира.

— Понятно. Ну я думаю, со временем... Кто-то один прошел, а потом еще. Потом она постепенно стала менее дикой. Ну и как-то тут вообще открыты горы. Даже почвы нету.

— По сути, это тот же самый лес, только мы его совершенно по-другому воспринимаем.

— Вот этот?

— Вот конкретно, допустим, вот этот вот пятачок.

Если бы мы его увидели там, когда мы забирались в эту ложбину, мы бы его по-другому видели. Сейчас он тут какой-то обыденный и скучный.

— А там тревожный...

— Там дикий и непокоренный. Тревожный, страшный.

— И там чувствуешь себя не как дома.

— Но лес всегда тот же самый.

Я спрашивал А., почему они расстались с П. — она говорила, что П. стала меньше писать и чаще говорить про свою депрессию. Потом она сообщила, что у нее нет сил на отношения. Но они продолжили дружить.

Когда А. была у меня в гостях в январе 2021-го, она учила меня правильно стоять: вес должен быть распределен равномерно по всей стопе; но мы зачастую больше делаем нагрузки на пятки, и тогда для равновесия живот уходит вперед и поясница излишне прогибается. Если напрягать ягодицы и чуть подавать таз вперед, чтобы поясница была прямее — меньше болит спина. Она мне показывала еще одно упражнение: я стоял боком к ней, она касалась какого-нибудь позвонка, и мне надо было как волна телом двигаться от этой точки, как будто я кольцо ряби, уходящее от места, куда упал камушек. «Не давать телу команду двигаться, а дать ему шевелиться самому по себе».

Когда я в последний раз сидел у тебя на диване и на меня сел твой кот, я сдерживался, чтобы не плакать ему на голову. Какой толк поливать кота? Тем более если тебе говорят, что переезжать в другой город — это плохая идея, и ты не сможешь поливать этого кота регулярно.

— Предмет цивилизации, который мне нужен. Лечь в берлоге и лежать.

— Я буду вас охранять.

— А ты не хочешь со мной прилечь?

— Не знаю.

— И знаешь, мы можем просто помолчать. Просто слушаем.

— Мы как будто в могиле, Артем.

— Охуенно.

— Там не холодно?

КУРС ТАТЬЯНЫ ЗАМИРОВСКОЙ

ФЕЛИЦИЯ

БЕЗ  
НАЗВЫ

первые слова на новом языке: вода, мука, картошка  
и масло

что поесть? что поесть? что поесть?

я мою голову, чтобы не выглядеть голодной, я чищу  
зубы, чтобы не выглядеть голодной, поддерживаю  
разговор о чужой незащищенности, чтобы  
не выглядеть незащищенной

ловким движением руки меня превращают  
в другого, с высоты птичьего полета распределяю  
милостыню: образ на основе эмпатии и мытого тела  
где найти голод? лежит на голой земле,  
где не строят магазины, вибрирует за час до обеда,  
проявляется в сепарации от родителей  
но если это пищевое поведение, когда еда  
появляется после долгих молитв богу плодородия,  
то важно есть сразу, иначе резко закончится  
и снова нужно молиться

ложка за себя вечером, ложка за себя через  
неделю, ложка за себя через месяц  
в нашей паре практикуем совместный писательский  
опыт: она пишет список, я в магазине зачеркиваю  
вычитка похожа на скороговорку, потому что  
к середине мы сбиваемся (калькулятор выдает  
сумму предела) и приходится начинать сначала  
потом я замешиваю дрожжевое тесто: 10 минут,  
20 минут, теперь накрываем  
тесто въедается в полотенце, липкие волокна  
растягиваются, пузыри лопаются  
мокрыми пальцами разминаю тесто на противне  
от дрожжевой выпечки обычно разбухает живот,  
мы вытягиваем ноги и отдыхаем

я глажу живот утром: надутый и голодный, вместо  
игры в горячую картошку медленно передаем друг  
другу тарелку с теплым от каши дном  
недели делятся на навязчивые желания, например,  
жажда молочного: во рту отделяется сыворотка,  
сметана выскользывает из тетрапака  
вычищенный язык определяет плотность  
и кислоту в вязких зернах творога, от айрана  
до простокваши, от 3 процентов до 10, и вдруг  
я вспоминаю армянский режан: звонкая  
сливочность, растворение в пустоте  
потом стадия растительной еды  
хочется помидоров и обляпаться соком, разварить  
тыкву, есть чернику вместе с хвостиками  
и листиками, малину больше никогда не проверять  
на гусениц  
с февраля на март водянистые овощи гниют  
на полках в магазине, все закончилось и больше  
не довезли  
без подсказок мы нашли забытый клад в тайниках  
шуфлядок:  
трехлетнее песто, отслоившееся масло, стертая  
дата на перетертых томатах, все этикетки выгорели  
Живот — допустив свою вечность — стал  
контейнировать патогенные бактерии  
мы заканчиваем цикл еды, который застоялся  
в чужом избытке,  
если охотой назвать стабильную работу,  
то мы сейчас травоядные падальщики: изогнутым  
клювом разрываю тетрапак, силой мысли подавляю  
брожение в стеклянных банках

утилизация чужого мусора — такая стратегия  
выживания  
размороженный сыр хорошо хрустит на хлебной  
корочке

я забыла предупредить: лучше не ходить  
по высокой траве, пока мы ищем помощь, иначе  
цепляемся на ноги и так доползаем до дома  
из человеческого остался стыд, когда пытаются  
отковырять

мало кто может сделать правильный узелок  
для клеща, продолжаю висеть с оторванными  
лапками, прыскаю ядом: не навредить, а лучше  
закрепиться

так мы застряли в маленькой комнате  
с односпальной кроватью, засыпаем в позе ложки,  
посередине ночи я ложусь валетом  
что болит в шее? куда тянется спина?

становлюсь в березку, дерево ветром клонит влево  
мы живем в помещении театра, за окном нарядные  
люди паркуются перед представлением я начинаю  
для них свой бытовой перформанс в качестве  
разогрева:

протираю пыль, взбиваю пододеяльник, выбираю  
трусы

на сухие складки ладоней ковыряю крем  
из разрезанного тюбика, пятки цепляются за нитки  
выпавшие волосы душат горло пылесоса и пахнет  
пылью

я потею от паники холодным потом,  
как сохранить свежесть? перестирывать одежду

или включить всю свою кожу на режим бережной стирки, размазать налет от порошка по волосам в новом сне у нас нет дома  
и там и здесь я рассказываю что это временно, промежуточный этап между был и будет  
какое жилье я заслуживаю? перемотанные на скотч коробки или низкие бетонные потолки — лишь бы ничего сверху не капало  
уважаемая немецкая леди шутит, что это лучше чем жить под мостом  
я смотрю в чужие окна: меня манит желтый свет ламп, я завидую душному воздуху в заставленных комнатах, хочу украсть их диван, их матрас, их обеденный стол на семью из пяти человек  
вынесу в торбе каждый квадрат комнаты подбираю кусочки отвалившегося фасада, во рту несу мох и листья, на лице паутина  
мой дом будет на вершине холма, а вокруг ров, с высоты буду бросать камни в чужие огороды  
когда я шепчу гражданам мигрантские проклятия им снится как все рабочие места заполнили невымытые младенцы: они плачут от голода и прокалывают пальцы степлерами, помещение как у бабушки дома, за окном сверкает молния и нужно достать все из розеток  
в самом конце сна стоит в большой очереди за одеждой, потому что все героини ожидаемо голые



ЯНЯ РАВЯКА

БЕЗ  
НАЗВЫ

## Тэгеран

Ты вырасла пад сонцам, яго было так шмат, што атрымалася забраць з сабой. Яно вандруе з карціны на карціну, запрашаючы ў краіну, у якой мне ніколі не даводзілася быць.

She is working on yellow, again.

У Тэгеране проста на трамваі можна паехаць у горы.

Калі збіраюся скочыць цераз касцёр, ты нагадваеш не забыцца на жаданне. Абавязкова штосьці пра іранскую рэвалюцыю. Сёння вечар, калі здзяйсняецца тое, пра што марыш. Надыходзіць 1402 год.

У цемры да мяне звяртаюцца на фарсі. You could be Iranian, you know. Адвечнае жаданне быць кімсьці, кім не з'яўляешся.

Мова, якую мы калісьці ведалі, але на якую забыліся, — кажаш ты аднойчы ранкам. Мне падабаецца не разумець ніводнага слова, а проста слухаць слухаць слухаць слухаць

Несупынна трымцяць нашыя рукі. Уначы мы ходзім па гарадах, на мовах якіх нам даводзіцца размаўляць, але якія ніколі не стануць нашымі роднымі.

هوشمگ  
Gomshodeh.  
Lost.

## Базель

Пачынаю пісаць, седзячы на халодных прыступках. Сонца проста ў твар. Гэтае адрозненне паміж холадам і цяплом магло б сфармулявацца ў акрэсленую думку, але яно застаецца нявыказаным. Я вельмі добра ўмею маўчаць і вельмі дрэнна фармулююць думкі. У дзяцінстве мяне вучылі не сядзець на халодным.

Увесь час сустракаю цябе ў адзенні, рухах, постацях іншых людзей. Падабенствы, якія наўмысна кідаюцца ў вочы, прымушаючы ўзгадваць, калі насамрэч ужо нічога не засталася. Верагодна, нам варта было паразмаўляць больш.

Губляюся ў мовах, якія гучаць вакол, намагаюся выхапіць сэнс таго, што прамаўляюць людзі.

Jin Jiyun Azadī на кухонным сталі.

Мне падабаецца маўчаць разам. Але я ўвесь час адчуваю неабходнасць штосьці сказаць. Я хацела б вынайсці мову маўчання.

Ці мы маўчым так жа па-рознаму, як і размаўляем.

Апошнія тыдні гучаць палітычнымі лозунгамі на мовах, якія я старанна вучыла па яркіх падручніках з прыдуманымі жыццямі, дзе ва ўсіх ёсць імёны, узрост, прафесія, сямейны стан.

Tout le monde déteste la police.

Ganz Basel hasst die Polizei.

На плошчах і вуліцах я намагаюся крычаць разам з усімі, але ў мяне нічога не атрымліваецца. Кажуць, дыстанцыя замежнай мовы часам дапамагае. Ці, наадварот, забівае магчымасць зноўку адчуць прыналежнасць да чагосьці.

Горад, у якім я спадзявалася адшукаць цішыню, застаецца ў памяці гукам дымавой шашкі. Гумавыя кулі застаюцца сінякамі на тваім целе.

Я збіраю мінулае па квітках на метро і ў музеі. Яны ляжаць у канцы нататніка, часта вывальваюцца, але адшукаць для іх больш прыдатнае месца для мяне не выглядае неабходным.

Вясна надыходзіць, пакуль мыюся ў душы. Я зусім не памятаю, як гэта здарылася год таму.

Хапаюся за цябе, як за апошнюю магчымасць адчуваць штосьці моцнае і вялікае. Маё пачуццё знікае так жа раптоўна, як і з'яўляецца.

Я жыву па непераведзеным гадзінніку, нібыта захоўваючы апошнюю сувязь з тым, што не атрымліваецца акрэсліць словамі. Калісьці табе вельмі падобалася гэтая метафарычнасць.

Што значыць 'ты', якое я ўвесь час выкары-

стоўваю, але якое даўно перастала быць звязана з кімсьці адной.

Тэкст, які звяртаецца да цябе і да нікога

### Страсбург

Вецер, што прадзіраецца скрозь усё самае цёплае адзенне. Цішыня, у якой любыя крокі падаюцца за-надта гучнымі. Бяздомны на вакзале кажа штосьці ў сне. Праз гадзіну пачнуць хадзіць трамваі, праз дзве — запрацуе пякарня.

А 5-й раніцы ў ёй на дзіва шмат людзей.

Колькі часу праходзіць паміж знаёмствам і першай сваркай.

### Парыж

Праз акно спальні бачныя верхавіны дрэваў, якія растуць на могілках. Перад паездкай я прачытала, што тут пахаваная Уніка Цюрн.

Мне падабаецца яе апантанасць лічбамі і анаграмамі.

Пачынаю складаць свае. Скала падае. Выюць. Час. Ніяк не атрымліваецца прыстасаваць 'н'.

Sie ist geplagt von den Ängsten vor dem Unsichtbaren. М'яне ахоплівае невытлумачальная вусціш, калі думаю пра час і прастору.

У лютым распускаюцца кветкі. Са мной размаўляюць мёртвыя, скрозь іх пальцы прарастае першая трава.

Russie terroriste, solidarité avec l'Ukraine гучыць па складах ад плошчы Рэспублікі да Бастыліі. Ты кажаш, французская мова выдатна падыходзіць для рэвалюцый, і радуешся, што мы ўсё ж такі прыйшлі.

Верагодна, «радасць» не самае прыдатнае слова.

На суседняй вуліцы сцягі знікаюць і застаецца толькі абыякавасць.

Куріння вбивае rauchen ist tödlich fumer tue на ўсіх мовах свету дзіўна што мы дагэтуль жывём.

Я пішу на мове гвалту, які перадаецца з вуснаў у вусны. Кожную раніцу секундная стрэлка адмярае адведзены на пісьмо час.

Варшава

Bitte verlassen Sie den Raum, wie Sie ihn vorfinden möchten у цягніковай прыбіральні побач з люстэр-







Сустрадаю цябе, загадзя ведаючы, што гэта не ты.

Кожны раз, калі вяртацца не хочацца, даводзіцца гэта рабіць.

### Вільня

Так.

Пад начнымі крокамі рыпіць падлога старой кватэры, дзе на верхніх паліцах пад год за годам не выціраным пылам ляжаць чужыя ўспаміны.

Так і не набылі кветкі, каб высадзіць на балконе. Засталіся толькі пустыя гаршкі ад тых, што паспелі высахнуць. Засохлыя, яны вымяраюць час, які праводзіш у самалётах, што ніколі не прызямляюцца.

Цені ходзяць па белай сцяне галінамі дрэваў, рухамі ветру. На драўляным сталe разлітая кава, амаль нябачная з-за аднолькавага колеру. Спевы птушак праз акно на кухню, пакуль ляжу ў ванне.

Па адной дастаю кніжкі з шафы.

Раз. Чытала, калі пісала дыплом на другім паверсе публічнай бібліятэкі. Заўсёды адно і тое ж месца, побач з працамі па фемінісцкай тэорыі літаратуры.

Два. Чытала, лежачы на траве ў парку.

Тры. Чытала перад сном, бы вусцішную казку на нач.

Стос.

Штосьці варта было сказаць.

Нямецка-рускі слоўнік на развітанне.

Рэха — апошняе, што застаецца ў пустым пакоі.

Пасля.

Gleich nachdem.

Lange nachdem.

Невыказальнае казальнае казаць на вы не не не не не не не не я так хачу вам штосьці сказаць у цяперашнім будучым мінулым у неіснуючым у гэтай мове на ўсіх мовах я іх вучыла вучу буду вучыць завершанага не прадбачыцца толькі мінулае цяперашняе будучае няскончанае salut tu n'és pas triste si je suis triste je suis so fucking triste словы падкрэсленыя чырвоным мая неіснуючая мова адна вялікая памылка праца над памылкамі дваццаць сёмага студзеня чырвоны радок адмяраецца двума пальцамі ў школьных сшытках разабраць на склады паставіць націск адшукаць праверачнае слова для неіснуючай мовы для замацавання яшчэ аднакаранёвае карань карані закарanelы вырваць з карэннем патрэбна прыкласці крыху намагання але ўрэшце не так цяжка.

Пасля ёсць маўчанне.

Мінск

---

КУРС ТАТЬЯНЫ ЗАМИРОВСКОЙ

МИЛА

ВЕДРОВА

ТЕМНЫЕ  
МЕСТА

Ты ждешь, что я тебе скажу  
Что делать, как себя вести  
И развиваться и расти  
И как искать и обрести  
Но я хотела бы сама  
Хоть что-то в этом понимать  
Ты смотришь в рот, но знай что я  
Что я не знаю ничего такого

(...)

Внутри изученных вещей  
В ряду привычных мелочей  
Таятся темные места  
Но где проложена черта?  
Как нам с тобой попасть туда?  
И вдруг за нею пустота  
Темные места, темные места  
Темные места, темные места

(Наадя – Темные места)

Я сидела в одних трусах на балконном диване и курила какую-то уже по счету сигарету. Кое-где на теле белели одинокие, не тронутые солнцем ладошки от санскрина, вся остальная кожа полыхала алым и была горячей. Двигаться было больно, стояла душная июльская жара, меня мутило. Я сидела, затаившись в тени балкона, и наблюдала жизнь спального

района среди июльского зноя в приоткрытое окно. Из православной церкви через дорогу доносился колокольный звон, троллейбусы медленно пробирались через влажный горячий воздух, люди выходили из «Виталюра» с пакетами еды — словно бы ничего не изменилось, это было лживой уловкой.

В какой-то момент город начал дефрагментироваться. Наверное, это началось тем самым летом, прошлым летом? Я затрудняюсь ответить. Я не помню, или раньше. Наверное, раньше. Память подводит меня. Мы словно сидим с ней в комнате для допросов, но я слишком мягкая, не знаю, где надавить, как припугнуть. Все мои вопросы, робко озвученные, отскакивают словно горох о стену. Во мне нет этой категоричности и целеустремленности жалеющего слепня, которые так необходимы для того, кто ведет допрос. «Мы просто хотим понять лучше, что произошло, пожалуйста, помогите следствию, это в ваших интересах». Пустая комната с неброским интерьером казенного помещения, стерильного, безликого, и большим окном-зеркалом Гезелла. На столе бумаги для записи и диктофон. Я одновременно задаю вопросы, находясь в самой комнате, и наблюдаю за процессом из-за зеркала. Память отказывается сотрудничать, заправски юлит, жонглирует фактами, меняет акценты и старательно подбирает слова, память знает, что все озвученное и помысленное может быть использовано против меня самой. Все не то, чем хочет казаться.

Допустим, что город превратился в поле партизанского сопротивления еще в пандемию, где любая попытка жить нормальную жизнь могла быть расценена как диверсионная деятельность. Хотя, может быть, так было и раньше, а я просто не замечала? Помню это нарастающее напряжение — вокруг себя и в каждой клеточке тела, затишье перед бурей, оцепенелое ожидание в преддверии лихой беды, не какой-то локальной, местечковой, а мировой, общепланетной — за несколько недель до мирового локдауна. Воздух казался наэлектризованным, я не находила себе места, мыкалась по квартире из угла в угол, в моем теле бесприютно блуждала тревога, пуская метастазы неопределенности. Предвосхищение чего-то тотального, выходящего за рамки моего привычного опыта, моей маленькой, но понятной жизни, заставляло меня метаться словно зверя, пойманного в капкан.

Любые передвижения в городской среде стали похожи на тактические маневры: находиться рядом с людьми — вне зависимости от того, что эти люди делали или думали, как они выглядели, каких взглядов придерживались, было опасно, стало опасно и для них, и для меня самой. Любой контакт оставлял след, по этим следам любого из нас, из тех, с кем мы контактировали после, могла выследить большая обезличенная беда, сожрать с потрохами.

Так мне пришлось стать единолично организованной партизанской ячейкой. Всю весну я бродила

по безлюдным пустырям своего спального района, прокладывая путь до дальнего магазина: бестелесный призрак в совершенно бессмысленном квесте за, например, солью для ванн или яйцами, в попытках утихомирить ужас внутри своего тела. Запасала крупы, воду и туалетную бумагу, маски, влажные салфетки, перчатки, санитайзеры. Передвигалась на полусогнутых, держала дистанцию, задерживала дыхание, убирала одежду, в которой пришла с улицы, в пакет, мылась. Ванны с солью, кстати, не помогали, я принимала их по курсу, описанному на пластиковой упаковке. От них по вечерам у меня надсадно болело сердце, мне было все так же сложно засыпать.

В остальное время я обновляла статистику заболевших и умерших на ТУТ.бае и плакала, пока разговаривала с мамой по телефону, просила ее быть аккуратнее — она отмахивалась от меня, словно от надоедливой мухи, для нее ничего особо не менялось, она не верила в то, что беда близко, не чуждала ее, не узнавала ее тяжелые шаги, отрицала свою смертность и мою смертность, смертность в принципе. Меньше читай новости, ты такая впечатлительная, говорила она, а лучше приезжай ко мне. Мама, я не могу, если ты из-за меня умрешь, я себе этого не прощу, плакала я в трубку.

Пара сверху и трек Наади.



Потом случился август, кроваво отцветающее лето — и пандемия стала чем-то неважным и второстепенным, пандемия все же была чем-то сродни природным катаклизмам, экологической катастрофе, весь мир оказался под вирусном колпаком. 9 августа мы вместе с мамой сходили проголосовать — и после стали свидетелями совсем иных изменений, я ощущала темное облако, нависающее над городом, над всей страной, западню, которой не избежать. У меня не было ни надежд, ни воодушевления. Медленно угасающий интернет отрезал нас от мира, очертил границы страны, сомкнул клешни капкана, в который мы все попали.

В жарком воздухе смешались смута и тлетворный запах гниения, запах человеческого пота, запах горячей кожи, запах кожи и запах дыма. Пыль, грязь, дым и сажа, город все впитал как зацветающая на раковине губка, пузырился, вбирая в себя крики и ужас, смятение и надежду, насилие и несогласие, дурацкие пропагандистские песни, мат и хриплые сплевывания. И продолжил меняться. Нормальность как привычный уклад жизни во всей ее простоте и понятности — метаморфировала. В RPG-играх открываются новые сегменты карты при новых ходах, складываясь в цельную картину, давая игроку больше новых возможностей и территорий для освоения, застройки, поиска ресурсов — с городом происходило что-то похожее, только наоборот. Как закрашивались протестные граффити неутомимыми руками жэсовских работников, так вымарывались целые

улицы, площади и переулки, видоизменялись целые микрорайоны. Город менялся, сужался, схлопывался.

Несмотря на то, что я прожила в городе много лет — я никогда не запоминала названий улиц, кроме каких-то самых очевидных и частых мест, в которых я бывала: центральный проспект — позвоночник города; вокзалы, шумные, похожие на гнезда насекомых, из которых свой путь в столице начинали многие понаехавшие; университетский корпус, несколько общежитий, которые я сменила, рабочий офис, дом, места, где жили друзья и подруги, любовники и любовницы; любимые кофейни и книжные магазины, кинотеатры, музеи, парки. В остальном я всегда ориентировалась визуально, вырабатывая знакомую моторику в процессе следования к тому или иному пункту назначения, игнорируя названия остановок, районов, запоминая ландшафт и пейзажи, архитектуру и расположение подъездов, лавочек, остановок, магазинов. Домой, например, — это по движению поезда в переход, направо, направо, на троллейбусную остановку, три станции вперед, через дорогу, по диагонали. Тело помнило, глаза видели.

Как-то в ноябре я смотрела, как мне быстрее доехать до места, где можно было купить батарейки в фотоаппарат, неподалеку от самого большого продуктового рынка, в августе случился один из первых женских протестов. Белые одежды, белые цветы, цепочки солидарности, цепочки человечно-

сти, из которых сплеталась сеть, готовая подхватить обломки разрушающегося мира — внутри плотного кольца ментовского насилия, массива иссиня-черных фигур, от которых стынет кровь. Я хотела сэкономить время, потому что в городе, конечно, было небезопасно. Впрочем, дома тоже можно было находиться только при соблюдении определенных условий. Как бы чего не случилось, понимаешь. В общем, я забила конечную точку маршрута и обнаружила на карте черные пятнышки. Сперва я потерла уставшие глаза, помассировала веки. На экране ничего не поменялось. Тогда я потерла пальцем экран телефона: может быть, заляпалось. Нет, пятнышки продолжали таинственно темнеть. Наверное, что-то с экраном телефона, подумала я, надо нести в ремонт. Все ломается, все изнашивается. Этот город, мои отношения с людьми, мои надежды на будущее, этот телефон, я сама.

Батарейки я так и не купила, ехать буквально было некуда, я решила не рисковать. Какие еще тревожные звоночки я могу вспомнить? В мессенджерах под старыми именами обнаруживались совершенно незнакомые мне люди, которым достались телефонные номера или даже телефоны моих приятельниц и знакомых — они меняли аватарки и имена; друзья и коллеги уезжали одним днем, прихватив тревожный чемоданчик и ничем не выдавая себя при последней встрече, не меняясь в лице — они исчезали не только из моей жизни, но и из социальных сетей — становясь безликими удаленными аккаунта-

ми и страницами, которые не найдены; закрывались и печатались места, в которых я раньше бывала довольно часто; джентрификация происходила наоборот — еще несколько лет назад окультуренные, раскрашенные, отмытые промышленные райончики становились нелюдимыми и покрывались пылью и ржавчиной; я продолжала носить две пары трусов, медицинские справки и полную таблетницу медикаментов, которые я принимала ежедневно (хватило бы на два месяца, при условии, что у меня бы ее не отобрали, что, конечно, было наивным допущением).

Что еще происходило? Регулярно кого-то — я говорю «кого-то», как будто это совсем не касалось меня, моей жизни, моих близких, моего социального круга, что, конечно, же не правда, а попытка остранения — признавали асоциальными элементами, «наркоманами и проститутками», задерживали, сажали на сутки, избивали и запугивали, угрожали и устраивали облавы, выманивали из квартиры, задерживали на улице и в собственной постели, шили липовые обвинения, не выпускали с суток, приходили с обыском, проводили обыск, выдворяли из страны, приглашали на допрос в качестве свидетеля или обвиняемого, печатавали офис, лишали лицензии, проводили профилактические беседы, увольняли с работы, отчисляли из университета, колледжа, техникума, подозревали в совершении того или иного преступления, инкриминировали экстремизм, террористическую деятельность, действия, на-

правленный на госпереворот и незаконный захват власти, пытали, под пытками и угрозами выбивали информацию, личные данные, признания, доступ к телефону, лишали воды, еды, сна, туалетной бумаги и средств гигиены, теплой одежды, нормальных условий существования, доступа к медицинской помощи, передач, свиданий и писем от близких, медикаментов, не давали сидеть и лежать, будили каждые два часа, не выключали свет в камере, заставляли лежать на холодной земле, не двигаясь, выносили приговор, пятнали репутацию в идиотских репортажах пропагандистских программ, пытались лишить человеческого достоинства. Я много фантазировала про возможное задержание с осени 2020-го, пытаюсь себя подготовить к этому опыту. Как будто проигрывая сцену, можно натренировать тело не впадать в панику, не пугаться, быть готовой ко всему. Я не была ни в чем виновата, нигде не светила, никуда не ходила, ничего плохого не делала, но при прочих равных это уже не имело никакого значения. Я знала, как происходили задержания. Читала об этом в статьях и личных постах задержанных, которых впоследствии выпускали. Как по утрам приходили с обыском, врываются в квартиру уродливым черным пятном, от которого несет невежеством, слепым «праведным» гневом и тестостероном, расшвыривали все вещи, топтались по ним, рыскали там и сям, вытаскивали все из шкафов на пол, создавали хаос и энтропию, залезали в личные записи и телефон, делали скриншоты и фотографировали, например, секс-игрушки, запрещенную символику,

сопровождая все это глумливыми комментариями. Как и где в квартире спрятать свою жизнь, чтобы ее не нашли? Наклеить ее на заднюю стенку шкафа, зашить в матрас, поместить в вентиляционную трубу, отнести к соседям, спустить в унитаз? Больше этого меня волновало, где потом жить, если, пока я буду сидеть на сутках, мой дом исчезнет, станет черным пятном на карте.

Помню, одна знакомая рассказывала мне, что, когда услышала, что громко топают по лестнице — побежала мыть голову, чтобы на сутки забрали хотя бы с чистыми волосами, политических ведь в душ не водят. Сколько времени у меня будет и что я успею сделать, прежде чем открою дверь в тамбуре, в которую будут колотить изо всех сил? Иногда я фантазировала, что я и есть этот гневливый и бесцеремонный человек в черном, который врывается в мой дом. Как я буду себя вести? Что привлечет мое злое внимание в первую очередь? Мне важно запугать и обозначить, кто здесь власть, показать, что я могу сделать с владельцем квартиры, в которую я вторглась, все что захочу. Может быть, я разобью зеркало в шкафу дубинкой? Сплюну и потопчусь грязными ботинками по сброшенной в кучу одежде? Точно буду по-гиеньи хохотать и фотографировать, если у девки будет дома бардак. Унижение — вот моя цель. Сраные змагары, проститутки и наркоманки, ковырялки и петухи, даже дома у себя убраться не могут, а хотят что-то менять в стране.

В общем, примерно год спустя с тех трагических событий августа я сидела на балконе в одних трусах. Позавчера мы с Кариной, которая еще оставалась в городе, ездили на Минское море. Слава богу, оно еще существовало — и в жизни, и на карте. Погода выдалась хорошей, ярко светившее солнце размывало темные угрожающие перспективы будущего, плавило тревогу настоящего, словно воск свечи. Мы поехали туда во многом потому, что нам хотелось почувствовать себя нормально. Как раньше, помнишь, как это было? Мы загорали, ели мороженое и разговаривали. Наши тела медленно размякли, отогреваясь, стали нежными и уязвимыми. Свежий воздух пьянил, я даже задремала. Вокруг лежали десятки таких же нежных уязвимых тел в купальниках, бегали беззаботные и расхристанные дети и собаки, из кафе доносилась трескучая и надоедливая поп-музыка, слышался успокаивающий плеск воды. Беларусь наконец дорвались до солнца, шутили мы. Так мало солнечных дней в году, какой-то ужас, как мы здесь выживаем, ты только подумай. Но лучше не думай. Не думай, не надо.

Карина заботливо привезла меня домой. Я постирала купальник и полотенце, вытряхнула песок из сумки. Болела голова, тело было горячечно вялым. Но кожа пахла так по-особенному после солнца. С детства любила этот разгоряченный, выпуклый запах. Запах пляжной неги и отпускного удовольствия, запах натруженного медленного дня на даче, запах дворовых игр и придумок, запах без-

заботных каникул, запах летнего фестиваля на природе. Запах надежды на лучшее.

Следующий день я провела в постели. У меня был тепловой удар, я была заложницей своего температурящего, мятущегося тела. Была сильная слабость, я еле-еле доползала до кухни за водой, до ванной, где я сидела с лицом, опущенным вниз, под струйками прохладной воды, до туалета, где я блевала. В физическом страдании всегда много одинокой неразделенности, особенно когда ничего сделать невозможно, только выжидать, давать себя время оправиться. Терпеть, наблюдать. Ждать, затаившись. Ждать, замерев. Ждать, пока пройдет. Карина только слегка подрумянилась, она была в порядке. Мне казалось, ты мазалась солнцезащитным кремом, мне приехать? Если хочешь, я приеду — написала она. Нет, не надо, спасибо, что тут сделаешь, только отлеживаться, написала я в ответ.

Сегодня мне было чуть лучше. Я методично пила воду и мазала кожу пантеноловой пенкой. Кожа — самый большой по площади орган чувств, который контактирует с внешним миром, и у меня еще довольно лайтовый ожог, но это пиздец. Пиздец как больно. Подуй на ранку, если болит, говорила мама в детстве — и дула. Подуй, поцелуй, выцелуй всю боль, выцелуй страдание. Не боли у котика, не боли у собачки, не боли у Леночки. Эта детская присказка была магическим заклинанием, свидетельствованием твоей боли. Кто-то замечает и тебя,



и твое страдание — и пытается его облегчить. Иногда этого достаточно — знать, что тебя видят, даже если тебе плохо. Я хотела, чтобы на всю меня подул Боженька, или Мироздание, или кто там есть, настолько все было хуево. Надо уезжать, подумала я. Что будет, если завтра мой дом тоже станет темным пятном на карте, пока мне плохо? Что произойдет со мной, когда меня и это физическое пространство захватит темнота? Я исчезну, меня засосет в черную дыру, я стану антиматерией? Что будет с моими вещами, кто их разберет, кто сообщит моей маме? Кто-то вообще вспомнит о том, что я вообще-то была, хватится меня в тревоге? В груди тоскливо заныло. Надо уезжать, пока не поздно, пока чего не случилось, меланхолично повторила себе я вслух. Уезжать не хотелось, но, честно говоря, хотелось вообще мало чего. Все это уже давно было мало похоже на нормальную жизнь, поэтому нужно уезжать, думала я, курила. Когда я говорю «нормальная жизнь», что я имею в виду? Я поморщилась, мне сложно было ответить на этот вопрос.

Надо уезжать.

Для этого, думала я дальше, нужно решить все вопросы с документами, сходить к гинекологу, психиатру, зубному, онкологу, сдать анализы, починить обувь, вакцинироваться от ковида, получить сертификат, удалить родинки, что я откладывала уже несколько месяцев, составить список медикаментов, купить все эти медикаменты с запасом, нуж-

но решить, куда я уеду и что буду делать там, купить билеты на самолет, забронировать жилье для краткосрочной аренды, чтобы после спокойно искать место для долгосрочной, нужно собрать вещи, упаковать все в чемоданы, нужно отсортировать и распределить: одежду, документы, предметы повседневного обихода по степени важности и значимости, нужно купить крепкие мусорные мешки и уложить в них то, что не нужно и не важно, и отнести на мусорку или отдать в благотворительные организации, перед этим очистив, постирав, погладив, нужно отвезти часть вещей, которыми еще можно пользоваться — бытовую технику, посуду, одежду, книги, с которыми мне жаль расставаться, — в мамину, но уже такую чужую квартиру, нужно пересдать квартиру, в которой я живу, нужно сделать генеральную уборку (обязательно помыть окна и разморозить холодильник), почистить телефон и ноутбук дочиста, откатить до заводских настроек, нужно сделать бэкапы в облако, закрыть банковские счета, снять все деньги, спланировать бюджет, рассчитать, чтобы на все хватило, отключить номер телефона.

Мне еще повезло, думала я, у меня есть время на сборы. А ведь кому-то придется уезжать одним днем, за час собрав вещи в рюкзак. И тем не менее, от физической боли и неотвратимости принятия такого огромного списка решений я заплакала. Я не справлюсь, я не смогу, это все слишком тяжело. Куда уезжать? Кому и где я нужна? Зачем это все, в чем смысл?

Так, сидя на балконе, еще за парой сигарет я составила список дел. Начало положено, хоть в нем не было никакой решимости и надежды, а только отчаянье. Как бы чего не случилось. На протяжении следующих недель я продолжала методично мазаться пантенолом, методично плакать, методично успокаивать себя и вытирать слезы, умываться холодной водой и выполнять дела из списка, одно за другим. Кожа заживала и шелушилась, но спокойнее мне не становилось. Взяла билет на самолет в один конец, на который хватило денег, докупив дополнительный чемодан. Наземную границу на выезд закрыли еще в пандемию.

Остановки на районе поредели, как волосы на мужской голове после тридцатилетия. Сперва исчезли киоски «Белсаюздрука», потом ненавистные всем государственные «Табакерки», потом и сами остановочные конструкции. Диспетчерская станция переместилась и обнаружилась рядом с моим домом, хотя раньше до нее было остановок десять. Ближайшая станция метро, конечная синей ветки, теперь была в полчаса езды, а раньше я могла дойти до нее пешком. Впрочем, в центр я уже не ездила после того, как порешала все медицинские вопросы. Незачем подставляться и позволять застать себя врасплох.

Менялся не только квартал, сам дом будто бы уменьшился втрое — стал трехэтажным и двухподъездным — хотя раньше был массив-

ной П-образной девятиэтажкой на 10 подъездов. Почтовых ящиков тоже стало меньше — я разгребала ворох рекламных флаеров из своего и думала: куда делись все люди, которые жили выше, чем я? Например, та семейная пара сверху, о существовании которой я знала по редким встречам в лифте и по звукам, доносившимся сверху — громко работающий телевизор, уроки вокала, короткий, но случавшийся с определенной периодичностью секс. Что с ними стало? Их посадили? Они переехали, покинули страну?

В процессе сборов я обнаружила, что дверь в одну из комнат перестала открываться, ручка не поворачивалась. Я пробовала по-всякому, она не поддавалась. Ключ, который вроде был, я лихорадочно искала и не могла найти ни в одной из шифляков со всяким барахлом. Эта комната была самопровозглашенным кабинетом, хотя раньше в ней была детская. В ней я писала картины и клеила коллажи, иногда читала, а когда приходили в гости — прятала в ней же пакеты с мусором, грязное и постиранное белье, книги и прочий творческий хлам. Может быть, в этой комнате осталось что-то бесконечно важное, с ужасом думала я. Деньги, техника, документы? Значимые и ценные вещи? Семейные украшения моей бабушки? Не помню. Нужно вызывать слесаря, наверное, просто заклинило замок или с петлями что-то, подумала я. Но не успела, закрутилась, то да се. Через несколько недель дверь затянулась, зарубцевалась, словно рана — стенная мате-

рия сомкнулась и превратила дверь в просто стену. Блядь, подумала я.

Я перебирала вещи, сортировала вещи, раскладывала вещи. Отношения с таким большим количеством вещей страшно меня утомляли, потому что сил было — кот наплакал, параллельно я пыталась жить свою обычную жизнь (с учетом некоторых всем понятных обстоятельств, конечно же). В общем, необходимость принимать решения касательно каждой самой маленькой вещицы — насколько мне эта вещь дорога, будет ли она полезна в другой стране, какие чувства она у меня вызывает и ностальгические воспоминания, как с ней в итоге поступить — все это меня ужасно выматывало. С ноутбука, телефона и флешек исчезали файлы, фотографии и документы. Тем лучше, думала я. Время от времени приходили редкие знакомые — попрощаться, повспоминать лучшее, сделать фотокарточку на память. Что-то из вещей и книг исчезало вместе с ними — я отдавала, или они украдкой забирали из груды пакетов, выставленных в коридоре. Прочные пакеты по 60 литров, штук 7, в которых я выносила вещи на мусорку, тоже исчезали. И хорошо.

Большой «Виталюр» рядом с домом закрылся на ремонт, его обнесли забором. Кажется, компания медленно разорялась, потому что вместо реконструкции здания происходила деконструкция. Это была только моя догадка, в какой-то момент я перестала читать новости. Выходя на бал-

кон покурить в перерывах между делами и сборами, я смотрела в окно и видела, как здание медленно постапокалиптически растворялось, будто его облили кислотой, как ржавела крыша, отваливались вывески, разбивались окна, как исчезала облицовка и обнажался бетонный каркас здания. Православный храм через дорогу сперва лишился забора, после превратился в небольшую деревянную избушку, а потом и вовсе рассосался, словно волдырь, оставив после себя ничем не примечательный пустырь.

Я отсчитывала дни до отлета, вычеркивала строчки из списка дел и несколько раз на день проверяла наличие аэропорта на карте, на месте ли он. Иногда просыпалась по ночам и тоже проверяла. На месте, фух, можно засыпать дальше, я уеду, а там будь что будет. Проходя мимо стены, в которой раньше была межкомнатная дверь, я иногда останавливалась, гладила ее или прислонялась ухом и встревоженно слушала, ничего не слыша. Сердце словно соскальзывало в холодную мокрую ладонь, которая сжимала его как ледышку. Дни текли талой водой, отсчитывая время до отъезда.

В день отлета в 4 утра Карина приехала за мной, чтобы отвезти в аэропорт, его еще не закрыли. Я плакала над горсткой вещей, с которыми не знала, что делать. Они никуда не влезали, наверное, их нужно было оставить или выбросить. Я плакала еще и от усталости, потому что количество решений, которое мне пришлось принять за последнюю

неделю, было просто невероятным. Оставляй, сказала Карина, отпуская вещи с легкостью — в жизни еще появятся новые. Паспорт, деньги, телефон проверь. Кстати, представляешь, добавила она, ты теперь живешь за кольцевой, я так удивилась!

Мы присели на дорожку, снесли чемоданы, я бросила ключи от квартиры в почтовый ящик. Неважно уже совсем, что будет с квартирой, главное успеть убраться отсюда, улизнуть. Молча покурили и сели в машину. Карина повернула ключ зажигания и поехала дворами, чтобы свернуть на кольцевую, и потом дальше через ржавую мглу в отсветах ночных фонарей — до самого аэропорта. Последний горящий фонарь на улице нервно поморгал и затух. Все погрузилось во тьму.

КУРС АЛЁНЫ ГЛУХОВОЙ

КРИСТИНА  
ГРЕКОВА

МЕНЯ

ТАМ

БОЛЬШЕ

НЕТ



Лес никогда не был мне знаком. А я каждый раз пытаюсь изучить его. Он стоит напротив улицы Пашковской в Могилеве, в нем годами протоптанные дорожки, весной — белые цветы, а зимой — хрустящий снег. Можно увидеть сосны, елки, белок и, если очень повезет, косуль.

Нет, неправда, я никогда не пыталась изучить лес, я всегда хотела изучить себя в лесу, дать пространство мыслям и попробовать избежать одиночества. Иногда у меня это получается, тогда я выхожу довольная и наполненная, а иногда нет. Тогда мне кажется, что лес — это пропасть, в которую меня умело засасывают перепутанные дорожки и хитроумные птицы. Я им пища, я им земля, а они мне кто?

Мы с сестрой едем по кочкам могилевского леса, она впереди, я сзади. Сиденье отбивает попу, но я продолжаю крутить педали, как будто остановиться нельзя, как будто самое главное прямо сейчас — чувствовать скорость и догнать сестру. Листья, поворот, снова листья, солнечный луч прямо в глаза, оп — и я чуть не упала. Это даже весело, когда корни показываются из-под земли и ты можешь с ними взаимодействовать. Смотреть на форму, искажения, пытаться обойти или прощупать ногами. Такая игра, где невозможно выиграть, но ты постоянно возвращаешься и тебе это нравится.

Сегодня я выбираю идти пешком. Мне больше не нравится отбивать попу или стараться догнать се-

стру, она давно сюда не заезжает, хотя периодически мы видимся. Я закрываю калитку и отправляюсь в свое путешествие. Есть обязательная программа — посмотреть на любимую сосну, болото и, по возможности, посидеть на земле. Хвойные леса особенно хороши для сидения на земле, иголки создают мягкую подстилку. Это достаточно простая дорога, где в какой-то момент, чтобы вернуться назад, нужно вернуться назад. Просто повернуть тело и пойти обратно. Почему это никогда не удастся? В таких простых маршрутах легко потеряться. Сначала я обращаю внимание на цветок, после иду немного влево, чтобы проверить «а что там?», и уже через несколько минут вообще без понятия, где нахожусь. Так произошло сейчас, так происходило тысячу раз до. Никаких просто повернуть тело и пойти обратно, это никогда не работало.

Страх — первое, что я испытываю после осознания потери: себя в пространстве, себя как человека, себя, у которой еще минуту назад было все под контролем. Я пытаюсь осмотреться и разобраться в ситуации, иду назад, но путаюсь еще больше. Пытаюсь вспомнить, каким именно образом я сюда попала, какие делала шаги, куда поворачивала. Все это заставляет путаться еще больше до момента, пока я окончательно не признаю — я заблудилась. Конечно, никакие карты и телефоны не работают. В лесу, когда ты теряешься, ничего не работает, даже память. Тем более память, они с фантазией меняются местами и ты остаешься в этой компании совсем

одна. Как и всегда, казалось бы, но теперь совсем по-другому. Деревья начинают скрипеть, птицы подозрительно кружат над головой, а солнце резко исчезает.

Пытаюсь ориентироваться на птиц, они предательски врут. Такие красивые в городе, такие надменные в лесу:

— Ха-ха-кар-каха

— Мы все видим, тебе не выбраться отсюда!

Я ложусь в пелену мха — мне нужно отдохнуть, почувствовать себя в безопасности и придумать план, пока птицы не перестанут глумиться. Мох поглощает меня с головой: пальцы левой ноги, пальцы правой ноги, икры, проходит сквозь колени и забирается в таз, обволакивает мой живот и направляется в солнечное сплетение. Растекается по груди и отправляется в плечи, плечи расслабляются, правая рука, левая рука, большой палец левой руки, большой палец правой руки. Шея, затылок, макушка. Я — мох. Теперь птицам меня не достать.

Во время депривации сна происходит искажение реальности. Другими словами, могут возникать глюки, но я до сих пор уверена, что это был не глюк. Мы стояли на балконе после фестиваля SPRAVA и праздновали день рождения Алины. Я рассказывала про огромного слизняка, который однажды появился ночью за моей спиной, я его не виде-

ла, но почувствовала, это был огромный слизняк, и я совершенно не понимала, чего он от меня хочет, потом послышался звук щелчка, и он исчез. С тех пор мир изменился. Он-то понятное дело меняется, но это было другое изменение. Что-то необратимое. И я рассказываю эту историю на балконе, а тут опять это чувство — фатальные перемены на почве природных явлений. Ветер поднимает листья, деревья истерично мечутся в разные стороны, окно балкона сигнализирует: уходите. Мы остаемся. Когда становишься свидетельницей чего-то необратимого, возникает естественное желание — стать его частью. Прочувствовать изменение своего тела, ощутить, как исчезают атомы старой тебя, когда новой тебя еще нет. Приглядываюсь, ветер поднимает мои волосы, руки и ноги истерично мечутся в разные стороны, окно балкона сигнализирует: уходи. Меня там больше нет.

Раньше мне нравилось играть в капитанку корабля на стройке около дома в Сухарево. Район был совсем новый, и развлечений особо не было. Чуть ниже от горочки, рядом со штукой, которая нужна для выбивания ковров, стояла металлическая конструкция. Она была настолько странная, что я до сих пор не понимаю, что это могло быть. На нее можно было залезть, что-то повертеть, покрутить, как штурвал, и неплохо провести время. Мне нравилось придумывать всякие задания своей воображаемой команде:

— Сегодня нам надо перенести 200 тонн груза. Давайте шустрее, надо успеть до заката!

— День уборки корабля.

— Вольный день — наслаждаемся океаном.

Океан — зеленое поле с кучей строительного мусора. Там практически никогда не ходили люди, потому что идти там было некуда. Идеальное место для корабля. Справа голубятня, за которой присматривал мужик, птицы там — мои чайки. Впереди перспектива на поле, куда обычно заходит солнце и где можно провожать день. Часто я проводила там по несколько часов, приходила, садилась на металлическую конструкцию и бормотала вслух. И как будто не было какого-то конкретного времени или идеи, что там делать. Оно приходило само и уходило точно так же.

Я открываю глаза, на небе не осталось почти ни одной птицы, скоро начнет смеркаться. Я отряхиваюсь от мха и прислушиваюсь к лесу. Акустика не позволяет до конца разобраться в направлении, но кажется, стоит идти на шум автомобилей. Проплаываюсь через ветки и кусты, спускаюсь в овраг и оказываюсь на дороге. Остановка — значит, скоро я окажусь дома.

КУРС АЛЁНЫ ГЛУХОВОЙ

АЛЁНА  
ПАЛЬЧЕНКО

УСКОЛЬЗАЮЩИЕ

СЛОВА

мне хотелось написать текст о нежности папы, с какой он произносил мое имя, гладил по голове и целовал в щеку перед сном. но текст распадается на множество тканей, которыми усеяны мои шкафы, и детство, состоявшее не только из папы и даже менее всего из него, обнажается пожелтевшими пятнами и следами чужой жизни. следуя за появляющимися развилками и путаюсь еще больше в ветвистых линиях берегов, уводящих от прозрачной ясности воды в мутное мелководье покинутого и заброшенного. а там оказываются протекающие лодки, самодельные удочки, ведра, наставленные всюду банки, так и не домытые и не отвезенные в деревню, и везде следы любимых рук, которые могу узнать вслепую и на ощупь по отколупленным заусенцам. раны роднят больше замечаемых отличий, которыми все родные пытаются разделить нас с сестрой на старшую и младшую. наверное, чтобы затем объявить нам о наших сходствах — в разрезах губ, круглых яблочек щек, искривленных вторых пальцах на ногах — и восстановить баланс чужеродности.

выходя на берег, натываясь на всюду разбросанное сокровище памяти, я начинаю процесс иссушивания почвы, выуживая из воды и грязи остатки ушедшего времени. осторожно вытягивая за уголок мокрые листы фотографий, ложки, окурки, намокшие корешки книг, ботинки, глиняные кувшины и чашки со сколотыми краями, я не могу остановиться и за каждой последующей находкой вытягиваю следующую — все они сцепленная вереница танцую-

щих предметов то ли из «Мойдодыра», то ли из еще одной сказки, которую мне читают на ночь. держа в руках эти страшные, грязные, забытые, потрепанные предметы, я чувствую ликование и волнение, а затем трепет и страх, а после боль и печаль — и берега начинают затапливаться водой, мне приходится спасаться бегством, в очередной раз. все найденное на ходу теряется, и только корешки фотографий и книг и, может быть, измятая салфетка с присохшими соплями торчат из кармана. я к ним потом возвращаюсь и берегу, даже соплю.

я знаю, моя память конструирует мне меня по образу и подобию момента, исходя из случая, она зыбкая и сыпучая — в ней в любом случае тонешь и опереться не на что. я знаю, стоит мне открыть глаза — сон продолжает свое движение и ждет, когда я снова провалюсь в него с наступлением темноты. я знаю, сознание ненадежно тоже, оно рыщет в памяти лишь по узнаваемым контурам текучей поверхности и не способно распознать мелькающее под ней движение чего-то еще, что прячется в бликах на воде, уводящих от вопросов. я все это знаю, но это меня не успокаивает и не утешает, это будоражит, давит и гнетет — хочется (страшно) упасть в эту прорву на том конце поверхности, вдавить телом непрорываемую пленку и узнать, что же может там находиться.

хочется сказать, что не имеет значения, что произошло, но и это не так. прошлое значения не имеет,



но настоящее в прошлом рыщет, ищет и воссоздаст себе утраченное. все касания рук и поцелуи были, но утратили значение (даже твои). только мерцающее на рассвете стекло, сквозь которое я рассматриваю зимой бабушкино крыльцо, все еще возвращается ко мне в словах. корочка льда по ту сторону стекла не дает разглядеть его целиком, и я становлюсь этим уголочком пятна на окне, в котором могу распознать знакомое и додумать неизвестное.

в 15 я хотела встретить такого, как ты, и отправиться вместе в дорогу — куда угодно. мне казалось, ты будешь похож на моего брата, с которым я всегда собиралась по ночам в воображаемую дорогу — на крыльцо в ночи под луной в бабушкин сад с привидениями. зная на ощупь скрипучесть пола, мы проходили друг за другом сквозь все четыре комнаты этого большого дома, открывали дверь с верхней защелки и выходили босыми ногами на грязную ледяную плитку крыльца. ликовали. пока нас не заставала темная фигура матери наших матерей, стучащая по стеклу из соседнего окна и грозящая нам кулаком. мы жутко пугались, спрыгивали с крыльца и бежали в самый страшный сад с привидениями, огибая на поворотах дом босиком по траве — осколкам дедушкиных бутылок — торчащим камням — клубням бабушкиной картошки — проводам — кускам брошенного асфальта — шлангам до крыльца с задней стороны дома, чтобы снова увидеть там бабушкину фигуру в длинной белой ночнушке, выглядывающую из двери в ночи под луной, от которой

мы снова бежали назад по кругу и застывали где-то по центру страшного сада с привидениями, держась за руки и слушая, откуда теперь раздастся бабушкин крик и куда нам бежать.

я забыла об этом, а вот он ты — в образе моего брата, с которым не страшны никакие привидения даже в ночном саду под луной.

но сад с привидениями, даже самый страшный, не так пугает меня, как держать тебя за руку. потому что ты не мой брат.

кончик носа, который не удалось спасти под одеялом, отмерзает, и мне страшно потерять и все остальное, если раскрыться. меня никто не тропит в деревне, никто не зовет, не тревожит мой сон и тихое всматривание в пятно на стекле, по которому я пытаюсь угадать время. больше боли от холода я боюсь отвести взгляд от окна и увидеть где-нибудь над собой что-нибудь такое, что мне видеть совсем не хочется. что-нибудь ползучее, и черное, и большое, и шевелящееся над моей головой. мне становится так страшно от одной мысли об этом, что я не вижу пятна на стекле, делаюсь сосредоточенной на том воображаемом, что находится вне поля моего зрения, чтобы следить за ним, не глядя. я знаю, стоит мне отвести взгляд от окна и увидеть это что-то — ни холод, ни боль от него, ни замирание тела в испуге не остановят выпрыгивание из кровати.

и тогда я воображаю, что вижу. и тогда сдергиваю одеяло.

моя память бродит по бесконечно хоженным тропам, но все равно плутает и отыскивает еще одни кусты со свежим урожаем, который прихватывает с собой, чтобы снова бродить. я вычерчиваю памятью фигуры передвижения, по которым можно было бы отследить меня с высоты — твоих глаз, читающих это. с твоего ракурса это похоже на безобидные каракули, которыми я исписываю поля, но я в них потеряна, это рытвины. иногда я ложусь в одну из них и смотрю туда, где должен быть расположен твой взгляд, но ничего не вижу и продолжаю отыскивать тайные залежи по пути домой.

никто из нас не знает, ни я, ни ты, ни мой брат, какого размера объекты. но я все равно сдергиваю одеяло и встаю.

письмо никуда не ведет. слова бродят рядом, но схватить их не удастся, остаются только следы, на которые смотришь ослиным взглядом, и что-то методично хлещет по спине. может быть, дождь.

я затмеваю свое сознание, чтобы прорваться к тексту, который всегда немножечко предшествует речи. я не подчиняюсь логике письма, буксую в тех местах, где есть свободное движение, в попытке схватить его руками, а оно скользкое и по рукам. мне приходится преодолевать даже не противоре-

чия языка и сущность невыразимого, но свою неспособность с этим справиться, от которой неуютно, и стыдно, и неудобно. будто подкорково верю в способность прорваться сквозь туман на тот конец берега.

есть такой способ взгляда, который я успеваю заметить — запущенная стрелой чуть выше глаз область, у которой я нервно подпрыгиваю на месте и даже немного вокруг нее кружу, совсем чуть-чуть, а потом ей усмиряюсь. туман продолжает густиться вокруг, но его пористость позволяет смотреть и видеть даже сквозь, если вовремя усадить митусливое движение мыслей. спустя время он расступается, оказывается разверзнут наружу — внутри можно существовать, зная, что дальше всегда что-то есть.

«узоры на ковре» — так мог бы называться спектакль из стенографии наших с тобой разговоров. я упираюсь в них взглядом, лежа на корявой скрипучей кровати, на которой вырос мой папа. упираюсь ногами в железные прутья, чья прохлада проступает даже сквозь сползающее тяжеленное одеяло, которое я натянула до самого уха в защите от чего-то шевелящегося и шершавого.

в ковровых кружениях я могу изобретать для себя пути отступления, отматывая назад столько времени, сколько позволительно, сколько не стыдно отступить, возвращая перемещение пальца по лабиринту плетений обратно и обратно. это тоже напоминает

мне плотно слов, изученное и понятное до самых мелких ворсинок, разнородных при близком вглядывании. их хочется гладить и встраивать на место те из них, что слегка потрепались и выбились из закорючек. в детстве я вожу по ним пальцем вечером, пока горит свет и кто-то укладывается рядом. или утром, пока не нужно вставать и кто-то рядом все еще спит.

иногда я заставаю себя на месте, хотя уже давно пошла дальше. тыкаю пальцем в одну точку, возможно, на твоём плече, всаживаю мысль о себе в почву, хотя уже давно подхватывающим ветром уношусь вперед. недавно я проснулась и увидела перекатывающиеся комочки шерсти кошки по всему полу. окно было открыто, и ветер нежно катал их прямо перед моим матрасом. мы с кошкой обе следили за ними полусонным взглядом, каждая со своей стороны. хочется быть этими легкими комочками, думаю, но зачем-то решаю сопротивляться ветру. интересно, что думает о них моя кошка.

мне не нравится, что я пишу. я постоянно спотыкаюсь, подпрыгиваю, вылетаю случайно в чье-то чужое окно и не могу потом залезть обратно, переступаю с ноги на ногу, ковыряю ступнями землю и снежные узоры слякоти в ожидании от себя решения, смотрю вверх. эти доступные мне способы движения никуда меня не ведут, как и письмо. но ими я сохраняю время и собственную статику сил, изучаю туманную местность, оглядываюсь в поиске го-

ризонта или сказочного знака. думаю, вывалиться в окно — тоже трюк, и зачем-то я постоянно его воспроизвожу и оказываюсь не там, куда направлялась.

все раскиданное, попадающее на пути, я обязательно подбираю в карманы и несу с собой, гремя собранными камнями-монетами-каштанами. цепляю саму себя за встречающиеся ветки, растягиваю нитки — возможно, по ним я смогу вернуться обратно — срываю полоски кожи быстрее, чем она успевает регенерировать под ветром. если двигаться достаточно быстро, то можно успеть обогнать собственную память, остающуюся без материала для прорастания. мне так кажется. что происходит, когда пропадает память? ты заново обретаешь значения? но можно ли тогда двигаться дальше?

больше всего я боюсь, что пишу одно и то же, и оно не умирает. я боюсь, что изобретаю формулы вечной жизни, с которой боролась, и повторяю их по кругу. чем больше я думаю об этом, тем больше путаюсь в кругах и слоях. речь каждый раз формулирует себя заново и постоянно воскрешает ушедших. я не хочу заканчивать это предложение, потому что не хочу умирать.

рождался какой-то текст про мамин свитер, но я его вновь забыла, как периодически забываю и ее голос. теплое чувство от маминого следа, который затерялся в моем носу, когда я вдыхаю запах лежащего колючего, слегка нагретого пухлого бе-

ло-серого свитера, стянутого (кем-то?) с маминого тела. белое холодное сырое утро, кресла под продуваемым окном и лежащий на них свитер — мое детство целиком состоит из фрагментов неуютного дома, в котором периодически проступают следы тепла сквозь световые пятна на запотевшем балконном стекле, на том, где я вывожу слова любви тебе, из-за чего ты злишься еще сильнее — тебе его потом снова мыть.

я хочу как можно скорее стать взрослой, искупить свое рождение, заменить тебя для тебя и прошу научить меня мыть посуду. стоя на шатающемся стуле (отовсюду пар, сверху страшно нависают кастрюли), я мою что-то в маленькой раковине очень медленно и неловко, ты злишься и торопишь меня, я нервничаю и шугаюсь и продолжаю молча крутить черпак в руках под сильным напором воды из-под крана, мокрая насквозь.

когда я уеду от тебя, я сделаю из мытья посуды ритуал, настраивающий меня на письмо, о котором ты все еще мало знаешь. и когда я вернусь жить в квартиру, в которой тебя уже нет, я рассмотрю сквозь пятно на стекле твои руки, которыми ты отмывала кастрюли и сковородки, зашивала все дырки в вещах и натягивала на себя тот самый теплый свитер на свете, сяду ночью за стол на шатающуюся табуретку и продолжу писать начатый еще тогда текст.

мне казалось, я больше никогда не вернусь к тому, что прошло, но время догоняет меня и стучит по спине, я делаю усилие и поворачиваю шею, только чтобы увидеть его бегущим обратно.

в словах невозможно ни спасение, ни выход, ни поиск. ими дробится что-то между нами, что-то между нами расслаивается, мы залипаем в этом густом наложении оболочек и тканей, ничего не происходит.

ощущение прозрачного говорения из нежного охвата взглядом все это странно живое и странно живучее. слово за словом вытягивается лента боли и испуга, но каких-то очень далеких, смытых пеленой речитативного повторения «мне больно, больно, больно». это не столбы или точки, усиливающие звук, но эхо, которым схлопывается пространство событий и удаляется в точку, откуда перестает долетать и быть явным.

что-то бесконечной красоты протекло между нами и двинулось дальше.

«возвращаю себе свободу», произношу это вслух, пока мы идем. думаю, о какой свободе шла сейчас речь. ты хмыкаешь, но ответа нет, и когда мы расходимся, я снова произношу вслух, уже себе — «ту, которую мне захотелось тебе протянуть». я пишу это, зная, что ты не прочтешь — это тоже освобождает.



я сказала тебе все, что имела. сейчас я продолжаю говорить, потому что продолжаю обретать и вывожу это в плоскость слов, на которой иногда случайно нам удавалось с тобой оказаться. ушедшее — это исправление на ходу формы глагола, так «удаётся» переключалось только что в «удавалось», и мне пришлось обернуться, чтобы махнуть далекой\_му тебе рукой.

чувствую смену рокировок фигур на доске: ось клонится в разные стороны, я покачиваюсь, но сохраняю линию тела, линия перестает быть прямой, изгибается под балансированием фигур, я не успеваю отследить, чей шаг. я позволяю полю определять возможности для движения, но совершаю порывы, наскоки и атаки спешно и лихо, пытаюсь вырваться и вернуть себе утраченное пространство.

я постоянно смотрю на твои руки, которыми ты переставляешь фигуры, которыми возводится для меня тупик. шаги ускользают от меня, слова исчезают, фигуры рассеиваются во внимании, остаются руки. мы за них периодически держимся. я узнаю тебя по ним, щупая трещины, мозоли, раны, шелушащуюся шершавую кожу. я всегда узнаю тебя по ним, даже когда ты не узнаешь по ним меня.

пока я пишу этот текст, я меняю свои позиции несколько раз, успеваю добежать до другого конца поля и прикоснуться к чужой границе, а затем отбежать обратно. здесь должно было быть предложе-

ние о том, что текст — это не освобождение, так как никуда не приводит и ни от чего не спасает. я много думаю о своем желании иметь в тексте спасение и выход, служащие параллельными тропами происходящему за окном. но теперь все последние дни я думаю о том, что выход изобретается письмом на ходу, непрерывно, начавшись задолго до того, как я ступила на территорию слов.

я все еще жду твоего взгляда и ищу его в вокзальных окнах. в них не проглядывается ничего, кроме шевелящейся по маршрутам части нашей местности, и покинутой, и присвоенной. в этой части города я оказываюсь чаще, чем в любой другой — так работает свойство памяти в поисках того, что утрачено, но еще чувствуется. по раскиданным меткам памяти я отмеряю ямы, в которые утекла вода, чтобы в них потом утонуть и увидеть, что находится все-таки на обратной стороне от ее поверхности. так, мне известны любые перемещения тротуарной плитки — раскинутые зазоры кирпичей около остановок и переходов постепенно отрезают случившееся, разрезают память на до и после и после и снова после, создают этот объем расстояния, который помогает больше не дотягиваться до события.

во сне я возвращаюсь к тому, что оставила. в письме же следую за излучением, исходящим от слов, которые успевают догнать все то, что уже было сказано. я двигаюсь не вперед и не назад, но куда-то сквозь, внутрь, между крайностями, в стык, в стол-

кновение. возможно, я пишу, чтобы можно было вывести пунктиром маршрут переступаний с одной мозоли на другую перед заполняющей простор водной гладью, в которую все еще хочется упасть.

я иду в обратную сторону от тебя, так я удерживаю равновесие и спасаю себя от падения, на которое толкнуть себя опять не готова. в обратную сторону от тебя — это везде, где тебя не встречала, не видела, не шла вместе, не могла помыслить в пространстве, то есть очень небольшой отрезок тропинки между сгибами домов. соблюдая эту дистанцию, я, конечно, себя обманываю — хотя бы тем, что все равно периодически готова случайно встретить тебя за поворотом на том самом месте. или тем, что могу объяснить для себя памятью, где чьё место находится. или тем, что мыслю тебя в точке статичной и недвижимой, а потому предсказуемой и безопасной — но мы линии берега и об\_е движемся.

весь этот большой текст я пишу не о тебе, я это знаю и все-таки продолжаю к следу в сознании возвращаться. может быть, я все еще не могу обнаружить по запаху тело, которое умерло и воскреснуть не может. или, может быть, я хватаюсь за ускользающий запах и этим не даю телу умереть.

я бы хотела спросить у Анни Эрно, почему так происходит, что некоторые люди остаются отпечатками, ничего не означая, так как почти не присутствовали — я бы ответила за нее себе сейчас,

что это потому, что так много пространства было для внесения в это отсутствие себя и своего, что это мои всматривания привели к тому, что я оказалась во власти рытвин, в которые удалось лечь.

я продолжаю идти в обратную от тебя сторону и злюсь, потому что это снова приводит меня к тебе.

пишу себе в дневнике: «зачем ты существуешь, если я не могу тебя целовать/обнимать/любить» — отвечаю себе спустя месяц там же: «чтобы не целовать/обнимать/любить тебя и иметь в отсутствии».

тянущаяся вдаль полоса дороги, у которой безопасные края и на сгибе клонит в сторону мягкая центрифуга от поворота. в наклоне можно дуть на ее поверхность рядом букв и почти целовать — чтобы кто-то смог идти вновь. никаких падений но длительное приземление вытянутое во времени вытянутое в твои руки которые подхватят и будут длиться. ими я нащупываю себя тоже.

вытянутость берега, по которому бегу и ничего не меняется и плывущий мир движется мне бы только за ним успеть по следам успеть но он ускользает и я бегу целую вечность и берег не кончается и ноги осиливающие скоростью раскинутую протяженность оставляют еле зримые следы и они ускользают вслед миру и когда ты смотришь на меня начинает бежать мир

звук захлопывающейся двери  
разговаривать сквозь закрытую дверь слышно ведь

отовсюду звучащий голос — пади на колени горец  
и горю воспой молчанием

мягкая оболочка воды струящаяся вверх  
по шершавому камню

простор бескрайности и ветер срывающий шапки  
и звуки

легкость листьев,  
которыми устилается кромка воды — так выглядит  
моя кожа в твоих поцелуях

единая мать земля о которую мы тремся  
всем своим телом

гибкость правды около уха

чей-то силуэт разрастающийся воздухом

ясность разума которая зрит обратно  
и успевает вернуться

воронка из которой можно вытянуть центр  
но снести плоть границ

рев двигателя которым разрезается ободок паузы

чья-то дочь повторяющая меня  
протянутая из тумана рука

если очень настойчиво повторять падение,  
оно обретает ритм

приходящие слова которыми посильно  
что-то сказать — благодать

замирание этого большого большого  
большого большого мира

и свет становится расширяющимся видом пустоты

а у нее стучит сердце

иногда текст не удается, чаще всего он не удается.  
иногда ты протягиваешь руку, а за нее не берутся  
в ответ. может быть, я пыталась схватить воздух.

САША

МЕТЛИЦКАЯ

СОН

ПТИЦЫ

Я сижу на табуретке, облокотившись на стену. Чай медленно стынет. Во рту вязко и сухо — так бывает, если выпить много горячего чая подряд. Улица за окном медленно стынет. Табуретка от моего качания переминается с ноги на ногу. На карниз окна прилетает ворона. Я перестаю качаться на табуретке, смотрю на ворону, на ее мертвенность, на ее возможность видеть мой дом сверху, на ее недоверие к ветру. Ворона улетает, не замечая моего взгляда. Я несколько секунд грущу о ней, о нашей короткой встрече и о том, что мы любим ветер по-разному. Я открываю форточку — остудить чай и услышать вороний крик, адресованный не мне, но, возможно, моему дому. Ты заходишь. Ты говоришь: закрой окно, здесь уже очень холодно. Я оборачиваюсь, тебя нигде нет. Можно не закрывать форточку. Ты не говоришь: что тебе рассказала ворона? Хочется спать. Закрываю окно, ложусь на диван, накрываюсь пледом. Холодно только носу, все остальное тело покрывается мурашками от согревания. Во сне ворона открывает форточку, залетает в комнату, садится ко мне на голову. Она не клюет, но вроде бы целует мой нос. Я просыпаюсь от звука сообщения на телефоне, хотя мой телефон всегда в беззвучном режиме. Ты пишешь: сегодня я уснула днем и мне снилось очень-очень много птиц и все они летели с юга и они не кричали они просто летели огромной толпой но было очень тихо очень много птиц и тишина и я тогда подумала что нам надо поехать на дачу чтобы не было никаких дел кроме смотрения на птиц и слушания того как же тихи тихо они летят. Я пишу:



поехали. Потом я снова пишу: мне тоже сегодня снились птицы, точнее, одна.

Я никак не могла начать этот текст. Мне казалось, что нужна история. Без истории куски текста размякнут, как кусочки хлеба, случайно упавшие в кружку с чаем. В хороший день я просто убираю ложкой упавшие в чай хлебные крошки. В плохой день приходится переделывать чай.

Я пишу отрывок про табуретку и птицу, чтобы попытаться найти сердце и пульс текста. Все это время, я думаю, что ворона — центральный образ. Потом я понимаю: пока я писала этот отрывок, я помещала себя не в неизвестную квартиру с неизвестной табуреткой, а в очень конкретную, в квартиру бабушки, где мы с мамой, сестрой и отчимом тоже жили около года. Эту же квартиру я представляла, когда читала книгу «Рана» Оксаны Васякиной. В ней есть сцены, где мама героини лежит на диване. Мама рассказчицы книги и я, смотрящая сон про ворону, лежим на одном диване. На том, на котором, наверное, прямо сейчас лежит моя бабушка и смотрит телевизор. Я так мало жила в этой квартире, я так редко думаю о ней, но, когда я пишу и читаю, я оказываюсь в ней. Как-то так получается, что это мое подводное интуитивное птичье пространство. То, которое окружало меня, когда мне было пять лет, просачивалось через кожу, попадало внутрь с частичками пыли. Эта квартира и есть моя ворона. Она всегда видит меня сверху и, если прислушаться, или спуститься в под-

вал, или подняться на чердак — в общем, двинуться в это бессознательное и подводное, можно уловить ее глухой далекий крик. Когда мне исполнялось пять лет, мама сделала большую цифру «5» из бумажного скотча на наших темно-красных шторах в этой квартире. Эту пятерку она украсила «бабочками» из фантиков. Казалось чистой фантастикой, что со шторами в квартире можно что-то сделать, да еще и так, как сделала это мама. Всегда, когда я вспоминаю об этом, мне хочется плакать. Ворону у окна в этой квартире я никогда не видела. Либо видела, но забыла. У меня нет никаких сомнений в том, что во сне ты видишь птиц, летящих в тишине. Когда ворона спит, ей снится, что моя квартира окнами смотрит на нее. Во взгляде этой квартиры стынет чай, табуретка качается и девочка пяти лет ест конфеты. Ворона просыпается от стальной тишины летящих с юга птиц. Когда ворона смотрит на летящих с юга птиц, ей хочется плакать.

Я внутри неизвестной, пустой холодной комнаты. По центру ее стоит ванна. Я раздеваюсь. Ногам очень холодно. Я сажусь в пустую ванну. С потолка начинает капать дождь — он попадает не только в ванну, но и на пол всей комнаты. Дождь наполняет ванну. Все еще очень холодно, но и как-то по-особенному приятно. Я тру ступни, счищаю с них грязь и пыль. Мне снова пять, и бабушка моет мне ноги в тазу перед сном. Все остальное тело не важно, главное ноги, спать нужно лечь с чистыми ногами. Вода в тазу «летненькая», я никогда не слыша-

ла, чтобы кто-то, кроме бабушки, говорил это слово. Летняя вода — это вода идеальной температуры, вода такой температуры бывает только в детстве. Дождевая вода с потолка в этой комнате холодная, но мне нужно отмыть в ней ноги. Ноги нельзя держать в холоде. Во сне ступни нужно прижимать к твоим коленям, греть ноги. Дождь в комнате продолжается, уровень воды в ванне растет. Ты заходишь. Ты говоришь: прости, я забыл закрыть кран.

Это сон, который мне никогда не снился. Сон, который я себе выдумала. Кажется, мне снилась ванна и дождь с потолка, но я не села в нее, не стала отмывать ноги от грязи и пыли.

Я бы хотела написать текст про выдуманные сны и про то, что в конечном итоге мне всегда пять лет. Этот текст не пишется, когда я сплю, и не пишется, когда я стою под душем. Этот текст не пишется, пока не начнешь стучать по клавишам ноутбука. Выдумать сон — это попытка спрятать настоящие сны. Те, в которых собака срывается с поводка и убегает. И те, в которых я вижу привидение. И те, которые еще приснятся. В этом тексте можно придумать все слова и сообщение, которые ты написал. Нет никакого «ты». Уже давно за «ты» пустота, отсутствие конкретного человека. Фигура речи, удобство для письма, иной чужой голос, который отвоевывает себе место через мое письмо. Голос, забирающий сны у всех «мы», архивирует в себе упреки, недомолвки, непонимания. Голос, который обнажает

потребность письма в контакте. Голос, создающий (не)встречу, (не)столкновение, (не)событие. Голос, создающий разрыв.

Я думаю: почему мне всегда нужно создавать разрыв, чтобы писать? Что случится, если убрать голоса всех «ты». Ты не пришел. Ты ничего не сказал. Ты ничего не написала о своем сне. Тебя нет.

Вороне ничего не снится.

Текст не ложится коллекцией снов, не структурируется воспоминанием из плотного медового пятилетнего детства. Текст умирает. Сердце текста перестает биться. Текст производит разрыв, паузу, молчание.

Сейчас этим текстом нужно долго молчать. Послушать тишину. Наблюдать замирание. Не воскрешать, не запускать ритм сна. Дать молчать. Дать молчать.

Пей воду, дай части воды течь мимо рта, закрывай глаза, открывай глаза, записывай, что видишь в это мгновение, описывай, какого цвета внутренность века, зачеркивай написанное, вспоминай свой последний сон, пей воду, забывай свой последний сон, дави на внутренний уголок глаза, нет, не плачь, просто дави на внутренний уголок глаза, просто продолжай давить на внутренний уголок глаза, вспоминай первую квартиру, в который ты жила, забывай

ее, пей воду, сначала пей воду, потом забывай, мой ноги, держи ноги в тепле. Сколько тебе лет?

Не производить финал, не заканчивать, не ставить точек, давать течь, плыть, литься, давать сниться, давать продолжаться. Текст, как и сон, никогда не заканчивается, особенно когда тебе пять.

Крошки хлеба не падают в чай и не размокают в нем. Они остаются лежать на столе. Крошки со стола нельзя смахнуть рукой, бабушка говорила, что это плохая примета. Смахнуть крошки со стола рукой — к несчастью. Поэтому крошки остаются лежать на столе. Потом их клюет ворона.

В той же самой квартире, где стоит бабушкин диван, есть шкаф. Верхние его полки заполнены тканью, которую бабушка покупала себе, чтобы сшить из нее брючный костюм и другую одежду (брючный костюм — это что-то, что уплыло в мир за 20 лет до меня). Бабушка не выбрасывает эту ткань, она хочет сшить мне из нее «что-нибудь симпатичное и нарядное». Когда я думаю об этой ткани, лежащей на верхних полках шкафа, мне хочется плакать. Где-то рядом со мной есть параллельный мир, в нем я выросла, лежу на бабушкином диване и ношу сшитое ею платье. Этот излом памяти и времени, это воображение себя в сшитой бабушкой нарядности оборачивается стыдом и болью. Я чувствую, что мир сшитой на меня нарядности где-то очень рядом, хоть и не может до конца случиться, обзавестись ма-

териальностью. Я знаю, что ткань останется лежать на верхних полках шкафа — приторно-голубая с серебристым узором, белая в черный крупный горох, плотная изумрудная.

Мне снится, что я встречаю девушку. Она говорит: я тебя знаю, мы были вместе в детском саду. Во сне я совершенно не помню ее и не помню, как мы были вместе в детском саду. Я говорю: я совсем тебя не помню. Потом я говорю: тебя зовут Марина. Я говорю: я не помню тебя, но мое тело помнит твоё имя. Когда я говорю вслух её имя, не помня её саму, в носу начинает сильно щипать — хочется плакать. От того, что я совершенно забыла девочку из детского сада и от того, что мое тело все это время продолжало помнить её имя. Я много думаю об этом. О том, что сон предлагает мне не воспоминание, но отсутствие воспоминания. Сон говорит мне: смотри, ты забыла. Ты забыла, а твоё тело продолжало помнить. Во сне я вспомнила имя девочки, которой никогда не было.

Я пишу этот текст, когда на двадцать пятый этаж дома, где я живу, просачивается звук с улицы. Это звук из динамиков синагоги у дома, песня, которую достали со дна реки и отпустили плыть по опустевшим предшабатным улицам. Я слушаю отблеск этой песни. Пустой город, залитый странной песней, становится сном.

Я пишу этот текст, пытаюсь поместить его между сном, птицей и бабушкиной квартирой. Но между

этимися вещами нет слов. Текст никуда не движется, ни о чем не рассказывает. В нем идет дождь. В нем летит птица. В нем спит девочка пяти лет. В нем все законсервировано и происходит одновременно, как в стеклянном шаре с искусственным снегом. Когда я смотрю на слова «дождь», «сон», «птица», «квартира», «детство», мне хочется плакать. Так, как хочется плакать, когда смотришь на стеклянный шар с искусственным снегом.

В один из дней, когда этот текст не пишется, я читаю пост в телеграм-канале Оксаны Васякиной. Там она цитирует отрывок из книги «Хронология воды» Лидии Юкнавич:

«Воспоминания вспыхивают на сетчатке. Не по порядку. В жизни вообще не бывает никакого порядка. Между событиями нет причинно-следственных связей, как бы вам того ни хотелось. Это все серия фрагментов и повторов, формирование паттернов. Язык и вода в этом смысле похожи.

Все события моей жизни переплывают от одного к другому. Безо всякой хронологии. Как во сне. Так что, когда я вспоминаю о своих отношениях или о том, как училась кататься на велосипеде, или о любви к литературе и искусству, или о спиртном на губах — впервые, или о том, как сильно восхищалась сестрой, или о том, как отец впервые тронул меня, — никакой линейности в этом нет. Язык — метафора опыта. Такой же произвольный, как масса

случайных образов, которую мы называем памятью, но его можно выложить рядами — нарратив, преодолевающий страх».

Я думаю, что это то, о чем мне от абзаца к абзацу думается в этом тексте. О том, что в памяти, во сне и в воде все происходит одновременно. О том, что есть только этот комок опыта, но у меня не получается выложить его рядами. О том, что в письме мне нужен или нужна «ты», чтобы на этот кусок опыта вместе со мной посмотреть. Когда-то я писала курсовую работу и читала Фрейда для нее. Фрейд пишет: «Человек в сексе всегда одинок». Я сейчас думаю, что так же, как в сексе, человек одинок в письме, наедине с собственным комком опыта. Со всеми своими птицами и бабушкиными диванами. Так письмо обнаруживает вороний взгляд, не просто подглядывание, но смотрение. Взгляд, имеющий возможность впустить в себя комок опыта, которые находится вне слов. Точно так же письмо и жизнь обнаруживают пространство сна, нужное, чтобы видеть части своей жизни и комки опыта своим же, но одновременно чужим боковым зрением. Сон — это тоже обнаруженное смотрение на себя. Точно так же, как письмо обнаруживает ворону и сон, оно обнаруживает «тебя». По очень простым причинам бабушкин диван и таз с летненькой водой очень хотят быть увиденными.

На самом деле пост из телеграм-канала Оксаны Васякиной присылаешь мне ты. Еще ты говоришь:



моя бабушка тоже называла воду «летненькой». Это «ты» мне не приходится сфабриковать.

Меня не отпускает мысль, что я всегда пишу об одних и тех же вещах. Этот текст — попытка дать голос этим вещам, хоть на самом деле у этих вещей нет ни голоса, ни истории. Все, что мне хочется сделать этим письмом, — это зафиксировать разрывы и трещины там, где они больше не создаются моей тоской по «нашей» любви. Там, где нет никакого «наше». Разрывы создаются: детством, сном, птицами. Летящая птица разрезает ткань неба. Детство разрывает время на то, что было до тебя, и то, которое есть одновременно с тобой. Детство — это трещина, в которую я постоянно проваливаюсь. И мне всегда пять лет. В моем стеклянном шаре есть: квартира бабушки, птицы, звук расстроенного пианино, зефир в шоколаде «Бобруйский» в розовой упаковке, видеокамера дедушки, таз с летненькой водой.

Когда я думаю, что больше не вернусь в этот текст, я нахожу заметку в телефоне. В ней я успела кратко записать свой сон. Снится дом, в доме женщина, на втором этаже ее дома живет черт — настоящий гоголевский. Женщина в доме боится его, никогда не поднимается на второй этаж, не видит, но слышит его постоянно. Мы в этом же самом доме. Мы слышим, как ходит черт. Сквозь просветы в половицах мы видим его.

На улице Тель-Авива я нахожу черно-белую фотографию в рамке. Она лежит в пакете с оставленными для раздачи вещами. На ней мужчина, завернутый в темную простыню, сидит на матрасе. На стене над ним — маленькая картина в рамке, сбоку от него — часть проводного телефона. Его торс оголен, а колени закутаны в простыню. Кажется, что он только что проснулся. По тому, как он склонил голову, кажется, что он пытается ухватиться за ниточку и распутать свой сон. На обратной стороне фотографии надпись на иврите: «Хоми на диване в гостиной. 1989». Когда я смотрю на человека с фотографии, мне кажется, что я смогла подсмотреть его сон, просто успела забыть.

За пару дней до того, как снова посмотреть в этот текст, я встречаю в обычном израильском магазине зефир «Бобруйский». Не в розовой упаковке — ребрендинг. Магазин с зефиром оказывается на той самой улице, которая раз в неделю, залитая песней, становится сном.

Я не пишу тебе про зефир, но знаю, что если бы написала, то ты сказала бы: я тоже люблю этот зефир, я тоже ела его в детстве. На секунду трещина затягивается, на разрыв накладывают шов.

Я ложусь на диван. Я слышу отдаленный крик птиц. Я засыпаю, но письмо не заканчивается.



WYDAWCA PAVEL ANTIPOV

Надрукавана ў 2023 годзе ў Варшаве  
культурніцкай квір-фем ініцыятывай SZTUKA.

Рэдкалегія: Алёна Глухава, Таццяна Заміроўская,  
Павел Анціпаў.

Дызайн, вокладка і вёрстка: Аляксандр Пажытак.

Карэктурa: Маша Чмель.

ISBN 978-83-968566-0-9

WWW.SZTUKA.STUDIO